



Лауреат
Национальной
книжной
премии США

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

Синие линзы
и другие рассказы

PREMIUM

Дафна Дюморье
Синие линзы и другие
рассказы (сборник)
Серия «Азбука Premium»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18534987

Дюморье Д. Синие линзы и другие рассказы: Азбука, Азбука-Антикис;

СПб; 2016

ISBN 978-5-389-11433-3

Аннотация

Имя английской писательницы Дафны Дюморье (1907–1989) мир узнал в 1938 году, после выхода в свет романа «Ребекка», и хотя с тех пор сменилось не одно поколение читателей, ее слава не меркнет. В сборник рассказов «Синие линзы», опубликованный в 1959 году, вошли восемь необычных историй. В них автор исследует тонкую грань, разделяющую мир реальный и мир воображаемый, норму и аномалию, игру фантазии и преступление. Где правда, где ложь, кому можно верить? Кто сумеет удержаться у последней черты? Кто переступит ее и сделает шаг, за которым неминуемо ждет срыв, крах, катастрофа, трагедия?..

Три рассказа сборника – «Пруд», «Эрцгерцогиня», «Трофей» – впервые издаются на русском языке.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Алиби | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 62 |
| Синие линзы | 71 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 118 |

Дафна Дюморье

Синие линзы и другие рассказы

Daphne du Maurier

THE BREAKING POINT (also as THE BLUE
LENSES)

Copyright © Daphne du Maurier, 1959

All rights reserved

This edition is published by arrangement with Curtis
Brown UK and The Van Lear Agency LLC

© Ю. Клейнер, перевод, 1989

© Г. Островская (наследники), перевод, 1989

© И. Проценко, перевод, 2016

© Н. Роговская, перевод, 2016

© Н. Тихонов (наследники), перевод, 2002

© Е. Фрадкина, перевод, 1989

© Издание на русском языке, оформление. ООО
«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Алиби

Перевод Е. Фрадкиной

1

Фентоны совершали свою обычную воскресную прогулку по набережной Виктории. Они дошли до моста Альберта и, как всегда, остановились, решая, перейти ли через него и зайти в парк или отправиться дальше за плавучие дома. И тут жена Фентона сказала, подчиняясь какому-то своему, одной ей ведомому ходу мыслей:

– Когда будем дома, напомни мне позвонить Альхузонам и пригласить их на коктейль: сегодня их черед прийти к нам.

Фентон рассеянно наблюдал за уличным движением. Вот по мосту прошел грузовик, слишком сильно раскачиваясь, за ним – спортивный автомобиль с громкими выхлопами, вот нянька в сером форменном платье толкает коляску с близнецами, круглые лица которых похожи на голландский сыр, и, перейдя через мост, сворачивает налево, в Баттерси.

– Куда пойдём? – спросила жена, и он взглянул на нее, не узнавая, во власти непреодолимого, просто кошмарного чувства, что и она, и все люди, которые прогуливаются по набережной или переходят через мост, – крошечные марионетки, раскачивающиеся, когда их дергают за ниточки. А как они передвигаются – неровно, какими-то судорожными толчками. Что за жуткая пародия на настоящие шаги – такие, как в жизни. Да и лицо его жены – голубые глаза, слишком сильно накрашенный рот, новая весенняя шляпка, небрежно

сдвинутая набок, – всего лишь маска, второпях намалеванная рукой кукольника, управляющей марионетками, на куске безжизненного дерева, из которого он их мастерит.

Он поспешно отвел взгляд и устремил его вниз, торопливо очерчивая тростью квадрат на тротуаре и точно попадая в выбоину в центре этого квадрата. Вдруг он услышал свой голос: «Я больше не могу».

– Что случилось? – спросила жена. – У тебя закололо в боку?

И тут он понял, что надо быть начеку, так как любая попытка что-то объяснить вызовет недоуменный взгляд этих больших глаз и столь же недоуменные настойчивые вопросы. И тогда придется повернуть обратно по ненавистной набережной Виктории, и ветер, к счастью, будет дуть им в спину, тем не менее неумолимо увлекая их вперед к бездарной гибели часов, точно так же, как течение этой реки увлекает крутящиеся бревна и пустые ящики к какой-то неизбежной зловонной илистой отмели под доками.

Чтобы успокоить ее, он ловко перефразировал свою мысль:

– Я хотел сказать, что мы не можем идти дальше за плавучие дома: там тупик. И потом твои каблуки... – он взглянул на ее туфли, – на таких каблуках долго не проходишь – они не для прогулки по Баттерси. Мне нужен моцион, а ты будешь отставать. Почему бы тебе не пойти домой? Погода так себе.

Жена взглянула на темное небо, и, к счастью для него, порыв ветра заставил ее поежиться в слишком тонком пальто и придержать весеннюю шляпу.

– Пожалуй, так я и сделаю, – сказала она и добавила с сомнением: – У тебя действительно не колет в боку? Ты побледнел.

– Нет, все нормально, – ответил он. – Без тебя я пойду быстрее.

Тут он заметил, что к ним приближается такси с поднятым флажком¹, и остановил его, помахав тростью. Он сказал жене: «Садись, ни к чему простужаться», и не успела она возразить, как он распахнул дверцу и дал шоферу адрес. Ей не оставалось ничего другого, как позволить ему усадить себя в такси. Когда машина отъезжала, Фентон увидел, как жена пытается открыть окно и крикнуть, чтобы он не опаздывал и еще что-то об Альхузонах. Он стоял на набережной, глядя, как такси скрывается из виду, и ему казалось, что целый отрезок жизни уходит навсегда.

Он свернул в сторону от реки, оставив позади шум движения, и нырнул в кроличий садок узких улочек и площадей, отделявших его от Фулем-роуд. Он шел с единственной целью – отделаться от самого себя и стереть из сознания воскресный ритуал, рабом которого он был.

Никогда раньше у него не возникала мысль о бегстве. Ко-

¹ В описываемое время в Англии поднятый флажок на такси означал, что машина свободна. – *Здесь и далее, если не указано иное, примеч. перев.*

гда жена упомянула об Альхузонах, в мозгу у него словно раздался щелчок. «Когда будем дома, напомни мне позвонить. Их черед прийти к нам». Наконец-то он понял утопающего, перед которым мелькают фрагменты его жизни, в то время как море поглощает его. Звонок у двери, бодрые голоса Альхузонов, напитки, расставленные на буфете, минутное стояние, потом рассаживание – все это лишь фрагменты гобелена, который изображает его пожизненное заключение, ежедневно возобновляющееся: раздергивание штор и ранний утренний чай, развертывание газеты, завтрак в маленькой столовой при синем свете газового камина (из экономии он привернут и едва теплится), поездка на метро, развертывание вечерней газеты в окружающей толпе, возвращение на места шляпы, пальто и зонтика, звук телевизора из гостиной, к которому иногда примешивается голос жены, разговаривающей по телефону. И вот так зимой и летом, осенью и весной, и при смене времен года сменяются только чехлы на стульях и диване в гостиной да деревья за окном на площади покрываются листвой или стоят голые.

«Их черед прийти к нам» – и появляются Альхузоны, гримасничая и подпрыгивая на своих ниточках, кланяются и исчезают, а хозяйева, принимавшие их, в свою очередь становятся гостями и покачиваются, глупо ухмыляясь, – кукольные партнеры, прикрепленные друг к другу, исполняют свой старомодный танец.

И вдруг – остановка у моста Альберта – слова Эдны – и

время прервалось. Нет, оно точно так же течет для нее, для Альхузонов, которые подходят к телефону, – для всех вовлеченных в этот танец, – лишь для него все изменилось. Возникло ощущение внутренней силы. Он управляет, он – рука кукольника, заставляющая марионеток покачиваться. А Эдна, бедная Эдна, которая мчится в такси домой, где сыграет отведенную ей роль – будет расставлять напитки, взбивать подушки, вытряхивать соленый миндаль из банки, – она понятия не имеет о том, что он шагнул из кабалы в новое измерение.

Воскресная апатия навалилась на улицы. Дома закрытые, замкнутые.

«Они не знают, – подумал он, – эти люди в домах, что один мой жест сейчас, в эту самую минуту, может изменить весь их мирок. Стук в дверь, и кто-нибудь открывает – зевающая женщина, старик в ковровых шлепанцах, ребенок, посланный раздосадованными родителями, – и все их будущее зависит от того, что мне будет угодно, какое решение я приму. Разбитые лица. Внезапное убийство. Кража. Пожар». Все так просто.

Он взглянул на часы. Половина четвертого. Надо взять за основу систему чисел. Он пройдет еще три улицы и затем, в зависимости от числа букв в названии третьей улицы, выберет номер дома.

Фентон быстро шел, чувствуя, как все больше увлекается. Все по-честному, говорил он себе. Неважно, будет ли это

жилой массив или молочная фирма «Юнайтед дэриз». Третья улица оказалась длинной, по обе стороны тянулись грязноватые желто-коричневые викторианские виллы, которые были претенциозными лет пятьдесят тому назад, а сейчас, когда их разделили на квартиры, чтобы сдавать, утратили свою помпезность. Название улицы – Боултинг. Восемь букв означают номер 8. Он уверенно перешел ее, изучая двери, не обескураженный крутыми маршами каменных ступеней, ведущих к каждой вилле, некрашеными воротами, хмурыми подвалами, атмосферой бедности и обветшания. Как все это не похоже на дома на его маленькой Ридженси-сквер с их нарядными дверями и цветочными ящиками за окнами.

Номер 8 ничем не отличался от своих собратьев. Пожалуй, ворота были еще более убогими, а кружевные занавески в длинном, уродливом окне первого этажа – еще более выцветшими. Ребенок лет трех, мальчик с бледным личиком и бессмысленным взглядом, сидел на верхней ступеньке. Он был как-то странно привязан к скребку у входной двери и не мог передвигаться. Дверь была приоткрыта.

Джеймс Фентон поднялся по ступенькам и поискал звонок. Он был заклеен полоской бумаги с надписью: «Не работает», а ниже болтался на тесемке старомодный дверной колокольчик. Конечно, можно было бы в считанные секунды распутать узел на ремешке, которым привязан ребенок, снести его под мышкой вниз по лестнице и расправиться в зависимости от настроения или фантазии. Но нет, пожалуй,

еще не пришло время для насилия. Не того ему хочется – ощущение внутренней силы вызывает жажду подольше насладиться ею.

Он позвонил в колокольчик, и в темной прихожей раздалось слабое звяканье. Ребенок уставился на него, не пошевельнувшись. Фентон отвернулся от двери и окинул взглядом улицу, платан на краю тротуара, коричневая кора которого пестрела желтыми пятнами, и черную кошку, сидевшую у его подножия и зализывавшую пораненную лапку. Он смаковал момент ожидания, сладостный из-за его неопределенности.

Он услышал, как за спиной растворилась дверь и женский голос с иностранным выговором спросил: «Что вам угодно?»

Фентон снял шляпу. Его так и подмывало сказать: «Я пришел, чтобы задушить вас. Вас и вашего ребенка. Я вовсе не питаю к вам злобы, просто так уж вышло, что я – орудие судьбы, посланное с этой целью». Вместо этого он улыбнулся. Женщина была бледная, как и ребенок на ступеньках, с таким же лишенным выражения взглядом и такими же прямыми волосами. Ей могло быть где-то от двадцати до тридцати пяти лет. Шерстяная кофта была ей велика, а темная юбка в сборку, доходившая до лодыжек, делала приземистой.

– Вы сдаете комнаты? – спросил Фентон.

Свет зажегся в бессмысленных глазах – теперь они выражали надежду. Могло даже показаться, что она жаждала, но уже не надеялась услышать этот вопрос. Однако этот про-

блеск сразу же угас, и взгляд снова сделался тупым.

– Дом не мой, – сказала она. – Домовладелец когда-то сдавал комнаты, но говорят, что и этот дом, и другие, по обе стороны, снесут, чтобы расчистить место для многоэтажных домов.

– Вы хотите сказать, – продолжал он, – что владелец больше не сдает комнаты?

– Да, – ответила она. – Он сказал мне, что нет смысла – ведь распоряжение о сносе может прийти в любой день. Он немного платит мне, чтобы я присматривала за домом, пока его не снесут. Я живу в подвале.

– Понятно, – сказал он.

Разговор был как будто закончен. Однако Фентон не двинулся с места. Женщина взглянула мимо него на ребенка и велела ему сидеть тихо, хотя тот едва слышно хныкал.

– А не могли бы вы сдать мне одну из комнат в цокольном этаже на то время, пока вы еще здесь? – спросил Фентон. – Мы бы договорились между собой. Домовладелец не будет возражать.

Он наблюдал, как она силится постичь его предложение, такое невероятное, такое удивительное в устах человека с его внешностью. А поскольку легче всего захватить человека врасплох, удивив его, он поспешил воспользоваться своим преимуществом.

– Мне нужна всего одна комната на несколько часов в день, – быстро сказал он. – Я не буду здесь ночевать.

Она так и не смогла понять, кто он: задача оказалась ей не под силу. Костюм из твида – такой носят и в Лондоне, и в пригородах, – мягкая фетровая шляпа, трость, свежий цвет лица, лет сорок пять – пятьдесят. Он увидел, как темные глаза раскрылись еще шире и взгляд их стал еще бессмысленнее, когда она попыталась увязать его наружность с неожиданной просьбой.

– А для чего вам нужна комната? – спросила она колеблясь.

Вот где собака зарыта. Чтобы убить тебя и ребенка, моя милая, разобрать пол и похоронить вас под досками. Но еще не время.

– Это трудно объяснить, – оживленно ответил он. – Я профессионал и работаю допоздна. А так как последнее время мои обстоятельства изменились, мне нужна комната, где можно было бы поработать несколько часов в день в полном одиночестве. Вы себе не представляете, как трудно найти что-нибудь подходящее. По-моему, тут у вас как раз то, что мне нужно. – Он перевел взгляд с пустого дома на ребенка и улыбнулся. – Например, ваш малыш. Как раз подходящий возраст, так что он не помешает.

Подобие улыбки промелькнуло на ее лице.

– О, Джонни очень спокойный, – сказала она. – Он сидит так часами, он не будет беспокоить. – Затем улыбка сошла с ее лица, вернулось сомнение. – Не знаю, что сказать... Мы живем на кухне, рядом – спальня. Есть одна комната сзади,

я держу там кое-какую мебель, но не думаю, чтобы вам подошло. Видите ли, смотря что вы собираетесь делать...

Ее голос замер. Да, такая апатия – как раз то, что нужно. Интересно, крепко ли она спит, – может быть, даже принимает снотворное? Судя по темным теням под глазами, принимает. Ну что же, тем лучше. К тому же иностранка, а их слишком много в Англии.

– Если вы только дадите мне взглянуть на эту комнату, я сразу определю, – сказал он.

Как ни странно, она повернулась и пошла впереди него через узкую грязную прихожую. Включив свет над лестницей, ведущей в подвал, и бормоча бесконечные извинения, она повела Фентона вниз. Несомненно, вначале это было помещение для слуг, живших на этой викторианской вилле. Теперь, когда кухня, буфетная и кладовая служат этой женщине столовой, кухней и спальней, они стали более запущенными. Вероятно, в былые дни, когда эти уродливые трубы были выкрашены белой краской, а этот бесполезный котел и старая плита были начищены, они выглядели совсем недурно. Даже кухонный буфет, который все еще занимает свое законное место и тянется почти во всю длину одной из стен, наверно, хорошо вписывался в обстановку лет пятьдесят тому назад, когда на полках его стояли сверкающие медные кастрюли и расписной обеденный сервиз, а рядом суежилась кухарка с руками, выпачканными в муке, отдавая распоряжения своему любимчику в буфетной. Сейчас грязно-кре-

мовая краска свисает чешуйками, потертый линолеум порван, а в буфете – только хлам, не имеющий ничего общего с первоначальным назначением буфета: испорченный приемник со свисающей антенной, кипы старых журналов и газет, незаконченное вязание, сломанные игрушки, куски задохшего пирога, зубная щетка и несколько пар обуви. Женщина окинула все это безнадежным взглядом.

– Нелегко, – сказала она, – с ребенком. Все время убираешь.

Было ясно, что она вообще никогда не убирает, что она сдалась и этот беспорядок – ее реакция на жизненные трудности. Однако Фентон ничего не сказал, а лишь вежливо кивнул и улыбнулся. Сквозь приоткрытую дверь он увидел неубранную постель, и это подтвердило его предположение о крепком сне – видимо, ее разбудил звон колокольчика. Поймав его взгляд, женщина торопливо закрыла дверь и, машинально пытаясь привести себя в порядок, застегнула кофту и пригладила волосы рукой.

– А комната, которой вы не пользуетесь? – спросил он.

– Ах да, да, конечно, – ответила она рассеянно и неопределенно, как будто забыв, для чего привела его в подвал. Она пошла обратно по коридору, мимо угольного погреба – вот это пригодится, подумал он, – мимо уборной, через открытую дверь которой был виден детский горшок и рядом с ним – разорванный номер «Дейли миррор», и наконец подошла к дальней комнате, дверь которой была закрыта.

– Не думаю, что вам подойдет, – со вздохом сказала она, заранее сдавшись. Действительно, это не подошло бы никому, кроме него – ибо он так переполнен силой и устремлен к цели. Когда она распахнула скрипучую дверь и подошла к окну, чтобы отдернуть занавеску, сделанную из куска старого материала для затемнения, сохранившегося с военного времени, резкий запах сырости ударил ему в нос, словно он внезапно попал в полосу тумана у реки, а еще он различил запах газа, который ни с чем не спутаешь. Они одновременно чихнули.

– Да, это плохо, – сказала она. – Должны прийти, но все никак не идут.

Когда она отдернула занавеску, чтобы проветрить комнату, карниз сломался, кусок материи упал, и через разбитое окно впрыгнула та самая черная кошка с пораненной лапкой, которую он заметил под платаном перед домом. Женщина попыталась прогнать ее, но ничего не вышло. Кошка, привычная к этой обстановке, юркнула в дальний угол, прыгнула на ящик и устроилась вздремнуть. Фентон и женщина огляделись.

– Это как раз то, что мне нужно, – сказал он, его не смущали темные стены, Г-образная форма комнаты, низкий потолок.

– Как, даже садик есть! – И он подошел к окну и взглянул на клочок земли и камни, которые сейчас, когда он стоял в подвальной комнате, были вровень с его головой. Когда-то

все это было крохотным мощным двориком.

– Да, – отозвалась она, – да, есть и садик. – И она встала рядом с ним, чтобы тоже взглянуть на запущенный участок, которому они оба дали такое неподходящее название. Затем, слегка пожав плечами, она продолжила: – Как видите, здесь тихо, но мало солнца. Комната северная.

– Я люблю, когда окна выходят на север, – рассеянно ответил он, уже рисуя в воображении узкую яму, которую он выроет для ее тела; незачем копать глубоко. Обернувшись к женщине и мысленно прикидывая ее размеры, рассчитывая длину и ширину будущей ямы, он увидел, что в ее взгляде появился проблеск понимания, и сразу же улыбнулся, чтобы подбодрить ее.

– Вы художник? – спросила она. – Они любят северный свет, не правда ли?

Он почувствовал огромное облегчение. Художник – ну конечно же! Вот объяснение, которое ему нужно! Вот решение всех проблем!

– Я вижу, вы разгадали мой секрет, – лукаво ответил Фентон, и его смех прозвучал так искренне, что он и сам удивился. Он заговорил очень быстро: – Да, художник, но посвящаю живописи только часть дня. Вот почему я смогу выбираться сюда только в определенные часы. Утром я связан делами, но позже – свободный человек. Вот когда начинается моя настоящая работа. Это не просто хобби – нет, это страсть. В этом году я собираюсь организовать свою выставку. Так

что вы понимаете, насколько мне важно подыскать что-то... в таком духе.

Он взмахнул рукой, указывая на то, что могло бы соблазнить разве что кошку. Его уверенность была так заразительна, что ее взгляд перестал выражать сомнение и замешательство.

– В Челси полно художников, не правда ли? – сказала она. – Не знаю, по крайней мере, так говорят. Но я думала, мастерские должны быть высоко, чтобы можно получать много света.

– Необязательно, – ответил он. – У меня нет подобных причуд. Да и в любом случае в конце дня темнеет. А есть электрическое освещение?

– Да... – Она подошла к двери и повернула выключатель. Голая лампочка, свисавшая с потолка, засветилась сквозь покрывавшую ее пыль.

– Чудесно, – сказал он. – Это все, что мне понадобится.

Он улыбнулся, глядя в это лицо, лишенное всякого выражения и несчастное. Бедняжка была бы настолько счастливее во сне. Как кошка. Нет, в самом деле, положить конец ее мучениям – просто благое дело.

– Можно мне переехать завтра? – спросил он.

Снова взгляд, исполненный надежды, который он заметил, еще стоя у парадной двери, когда справлялся о комнатах. А что же это теперь – смущение, какая-то тень неловкости?

– Вы не спросили... о плате за комнату, – сказала она.

– На ваше усмотрение, – ответил он и снова взмахнул рукой, чтобы показать, что деньги не имеют для него никакого значения.

Она глотнула, явно не зная, что сказать, к ее бледному лицу начала приливать краска, и наконец она решилась:

– Будет лучше, если я ничего не скажу домовладельцу. Я скажу, что вы – друг. Вы могли бы давать мне один-два фунта в неделю наличными, так будет честно.

Она с тревогой следила за ним. Конечно, решил он, третье лицо ни к чему – пусть все останется между ними, иначе может рухнуть его план.

– Я буду давать вам пять фунтов наличными каждую неделю начиная с сегодняшнего дня.

Он нащупал бумажник и вытащил новенькие хрустящие банкноты. Она робко протянула руку, и ее взгляд не отрывался от денег, пока он их пересчитывал.

– Ни слова домовладельцу, – сказал он, – а если кто-нибудь спросит о вашем жильце, скажите, что приехал погостить ваш двоюродный брат, художник.

Она взглянула на него и в первый раз улыбнулась, как будто его шутливые слова и вручение денег каким-то образом скрепили их договор.

– Вы не похожи на моего двоюродного брата, – сказала она, – и не очень похожи на тех художников, которых я видела. Как вас зовут?

– Симс, – моментально ответил он, – Маркус Симс, – и удивился, почему ему пришло на ум имя его тестя – поверенного, который умер много лет тому назад и которого он терпеть не мог.

– Спасибо, мистер Симс, – сказала она. – Утром я сделаю уборку в вашей комнате. – И, сразу же перейдя от слов к делу, она сняла с ящика кошку и прогнала ее в окно.

– Вы привезете свои вещи завтра днем? – спросила она.

– Вещи? – повторил он.

– То, что нужно для вашей работы, – сказала она. – Разве у вас нет красок и всего такого?

– Ах да... ну конечно, – сказал он, – мне же нужно привезти все необходимое. – Он снова оглядел комнату. Нет, и речи не может быть о резне. Никакой крови. Никакого беспорядка. Лучше всего задушить их обоих во сне, женщину и ребенка, – это самый гуманный способ.

– Когда вам понадобятся тубики с краской, не придется далеко ходить, – сказала она. – На Кингс-роуд есть магазины для художников. Я проходила мимо, когда шла за покупками. Там в витринах картон и мольберты.

Он прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть улыбку. Нет, в самом деле трогательно, с какой готовностью и как доверчиво она приняла все за чистую монету.

Она повела его обратно в коридор и вывела из подвала по лестнице в прихожую.

– Я так рад, – сказал он, – что мы договорились. По правде

говоря, я уже начинал отчаиваться.

Обернувшись, она снова улыбнулась ему.

– Я тоже, – сказала она. – Если бы вы не появились... Не знаю, что бы я могла натворить.

Они стояли рядом на верхней площадке лестницы. Потрясенный, он пристально смотрел на нее: ведь его появление грозит ей несчастьем. Ну и чудеса!

– Наверно, вы попали в беду? – спросил он.

– В беду? – Она сделала жест руками, и на лице ее вновь появилось выражение апатии и отчаяния. – Конечно, это беда – быть чужой в этой стране, а отец моего малыша сбежал и оставил меня совсем без денег, и я не знаю, что делать. Говорю вам, мистер Симс, если бы вы не пришли сегодня... – Не кончив фразу, она взглянула на ребенка, привязанного к скребку, и пожала плечами. – Бедный Джонни, – сказала она, – это не твоя вина.

– В самом деле, бедный Джонни, – повторил Фентон, – и бедная вы. Ну что ж, уверяю вас, я постараюсь положить конец вашим мучениям.

– Вы очень добры. Правда, спасибо вам.

– Нет, это вам спасибо. – Он слегка поклонился ей и, нагнувшись, коснулся макушки ребенка. – До свидания, Джонни, до завтра. – Его жертва ответила пристальным взглядом, лишенным всякого выражения.

– До свидания, миссис... миссис?..

– Моя фамилия Кауфман. Анна Кауфман.

Она следила, как он спускается по лестнице и проходит в ворота. Изгнанная кошка прокралась мимо него, возвращаясь к разбитому окну. Фентон широким жестом помахал шляпой женщине, ребенку, кошке, всей безмолвной желтовато-коричневой вилле.

– До завтра, – крикнул он и отправился по Боултинг-стрит беспечной походкой человека, стоящего на пороге настоящего приключения. Бодрое настроение не изменило ему, даже когда он подошел к собственной двери. Он открыл американский замок своим ключом и поднялся по лестнице, мурлыкая какую-то песенку тридцатилетней давности. Эдна, как обычно, висела на телефоне – до него доносился бесконечный телефонный разговор двух женщин. На маленьком столике в гостиной были расставлены напитки, сухое печенье и блюдо соленого миндаля. Судя по лишним стаканам, ждали гостей. Эдна прикрыла телефонную трубку рукой и сказала:

– Альхузоны будут. Я пригласила их остаться на холодный ужин.

Ее муж улыбнулся и кивнул. Задолго до своего обычного времени он налил себе глоточек шерри, чтобы еще острее прочувствовать и посмаковать конспирацию и безупречность истекшего часа. Телефонный разговор закончился.

– Ты лучше выглядишь, – сказала Эдна. – Прогулка пошла тебе на пользу.

Ее полное неведение так позабавило его, что он чуть не поперхнулся.

2

Как удачно, что женщина упомянула о рисовальных принадлежностях – иначе он бы глупо выглядел, явившись на следующий день безо всего. А теперь ему придется уйти из конторы пораньше и отправиться в магазин, чтобы обзавестись необходимым имуществом. Он разошелся. Мольберты, холсты, один тюбик с красками за другим, кисти, скипидар – то, что должно было уместиться всего в несколько пакетов, превратилось в громоздкие свертки, увезти которые можно было только в такси. Однако все это лишь усилило его возбуждение. Он должен добросовестно сыграть свою роль. Продавец, вдохновленный пылом своего клиента, предлагал все новые и новые краски, и Фентон, беря в руки тюбики и читая названия, чувствовал какое-то острое удовольствие от самого процесса покупки. Он дал себе полную волю, и сами слова «хром», «сиена», «вандик» ударяли ему в голову, как вино. Наконец он справился с соблазном и сел в такси со своими покупками. Боултинг-стрит, 8, – этот непривычный адрес вместо площади, где стоит его дом, придавал приключению еще большую пряность.

Странно, но, когда такси остановилось у цели, ряд вилл уже не казался таким однообразным. Правда, вчерашний ветер стих, время от времени проглядывало солнце, и дыхание апреля в воздухе сулило более долгие дни – но не это было

главным. Главное заключалось в том, что номер 8 как будто чего-то ожидал. Расплачиваясь с шофером и вынимая из такси свертки, Фентон заметил, что темные шторы сняты с окна подвала, а вместо них повешены занавески ужасающего мандаринового цвета. Как раз когда он заметил это, занавески раздернулись и ему помахала женщина с ребенком на руках, личико которого было вымазано джемом. Кошка соскочила с подоконника, подошла к нему, мурлыкая, и потерлась выгнутой спиной о его ногу. Такси отъехало, и женщина спустилась по ступенькам поздороваться с ним.

– Мы с Джонни весь день вас высматриваем, – сказала она. – Это все, что вы привезли?

– Все? А разве этого недостаточно? – рассмеялся он.

Она помогла ему снести вещи вниз по лестнице, в подвал, и, заглянув в кухню, он заметил, что она не только повесила занавески, но и попыталась там прибраться. Вся обувь засунута под кухонный шкаф вместе с детскими игрушками, а стол накрыт скатертью и приготовлен для чаепития.

– Вы просто не поверите, сколько пыли было в вашей комнате, – сказала она. – Я провозилась почти до полуночи.

– Напрасно вы беспокоились, – сказал он ей. – Ведь это ненадолго, так что не стоило.

Она остановилась перед дверью и посмотрела на него своим прежним бессмысленным взглядом.

– Значит, ненадолго? – пробормотала она. – А я почему-то подумала после того, что вы вчера сказали, что это на

несколько недель.

– Да нет, я не то имел в виду, – быстро ответил он. – Я хотел сказать, что вы зря убирали, потому что я все равно устрою жуткий развал со своими красками.

У нее явно отлегло от сердца. Она попыталась улыбнуться и открыла дверь со словами:

– Добро пожаловать, мистер Симс.

Надо отдать ей должное – она поработала на славу. Комната преобразилась, да и запах другой. Пахнет не газом, а карболкой – или это «Джейз»? Во всяком случае, какое-то дезинфицирующее средство. Кусок материи для затемнения снят с окна. Она даже позвала кого-то вставить стекло. Исчез ящик, служивший кошке постелью. Теперь у стены стоит стол и два небольших шатких стула, а также кресло, покрытое той же ужасной материей, которую он заметил на кухонных окнах. Над камином – там, где вчера ничего не было, она повесила календарь с большой яркой репродукцией «Мадонны с младенцем». Глаза Мадонны, заискивающие и притворно застенчивые, улыбаются Фентону.

– Ух ты... – начал он, – вот это да... – И не на шутку расстроившись, что бедная женщина положила столько трудов на уборку в один из своих, видимо последних, дней на земле, он отвернулся и стал распаковывать свертки, чтобы скрыть волнение.

– Позвольте помочь вам, мистер Симс, – сказала она и, не дав ему возразить, опустилась на колени и принялась развя-

зывать узлы, разворачивать бумагу и собирать мольберт.

Потом они вместе вынули из коробок все тюбики с красками, разложили их на столе рядами и составили все холсты у стены. Это было занятно, как какая-то абсурдная игра, причем любопытно, что женщина заразилась ее духом, оставаясь совершенно серьезной.

– Что вы собираетесь написать в первую очередь? – спросила она, когда все было сделано и даже холст водружен на мольберт. – Наверное, вы уже что-то задумали.

– Да-да, – сказал он, – у меня кое-что задумано. – Он улыбнулся, ведь ее вера в него столь велика. И вдруг она тоже улыбнулась и сказала:

– А я угадала, что вы задумали.

Он почувствовал, что бледнеет. Как она догадалась? Куда клонит?

– Угадала – что вы хотите этим сказать? – резко спросил он.

– Это Джонни, не так ли?

Разве он может убить ребенка прежде, чем убьет его мать? Что за дикая мысль! И почему она пытается подтолкнуть его к этому подобным образом? Времени еще предостаточно, и во всяком случае у него еще не оформился план...

Она кивала головой с хитрым видом, и он с трудом заставил себя вернуться к реальности. Разумеется, она говорит о живописи.

– Вы умная женщина, – сказал он. – Да, вы угадали, это

Джонни.

– Он будет хорошо себя вести и не станет шевелиться, – сказала она. – Если я привяжу его, он может сидеть часами. Вы сейчас имеете в нем необходимость?

– Нет, нет, – раздраженно ответил Фентон. – Я вовсе не спешу. Мне надо все продумать.

У нее вытянулось лицо. Видимо, она разочарована. Она еще раз окинула взглядом комнату, так внезапно и удивительно преобразившуюся в соответствии с ее представлениями о мастерской художника.

– Тогда позвольте предложить вам чашку чая, – сказала она, и он пошел за ней на кухню, чтобы избежать споров.

Сев на стул, который она подвинула ему, он принялся за чай и бутерброды под пристальным взглядом неопрятного маленького мальчика.

– Па, – вдруг произнес ребенок и протянул руку.

– Он называет всех мужчин «па», хотя его собственный отец не обращал на него внимания, – сказала мать Джонни. – Не приставай к мистеру Симсу, Джонни.

Фентон выдавил вежливую улыбку. Дети стесняли его. Он продолжал потягивать чай и есть бутерброды.

Женщина села и присоединилась к нему, рассеянно помещивая чай, пока он не стал таким холодным, что его, наверно, и пить было нельзя.

– Приятно, когда есть с кем поговорить, – заметила она. – Вы знаете, мистер Симс, до вашего прихода я была так од-

на... Пустой дом наверху, и даже рабочие не входят и не выходят. И район здесь нехороший – у меня совсем нет друзей.

Чем дальше, тем лучше, подумал он. Никто не хватится, когда она исчезнет. Было бы трудно выйти сухим из воды, если бы остальная часть дома была заселена, а так можно сделать это в любое время дня, и ни одна собака не узнает. Бедная девочка, ей, наверно, не больше двадцати шести – двадцати семи лет. Что за жизнь у нее была!

– ...он просто сбежал, без единого слова, – рассказывала она. – Мы пробыли в этой стране всего три года, и мы переезжали с места на место, без постоянной работы. Одно время мы жили в Манчестере, Джонни родился в Манчестере.

– Ужасное место, – посочувствовал он, – вечно льет дождь.

– Я сказала ему: «Тебе надо найти работу», – продолжала она, стукнув по столу кулаком и заново проигрывая ту сцену. – Я сказала: «Мы не можем так больше. Это не жизнь для меня и для твоего ребенка». Да, мистер Симс, нечем было уплатить за квартиру. Что я должна была сказать домовладельцу? И потом, когда ты здесь чужой, всегда неприятности с полицией.

– С полицией? – спросил испуганный Фентон.

– Документы, – объяснила она. – Такая морока с нашими документами. Вы знаете, как это есть, мы должны регистрироваться. Мистер Симс, моя жизнь не была счастливой вот уже много лет. В Австрии я некоторое время была слу-

жанкой у одного плохого человека. Мне пришлось сбежать. Тогда мне было всего шестнадцать лет, и, когда я встретила моего мужа, который тогда не был моим мужем, наконец-то показалось, что есть какая-то надежда, если мы будем поехать в Англию...

Она продолжала монотонно бубнить, глядя на него и помешивая чай, и ее голос с вялым немецким акцентом, довольно приятным для слуха, был успокаивающим аккомпанементом к его мыслям, который смешивался с тиканьем будильника на кухонном шкафу и со стуком ложки малыша о тарелку. Как восхитительно вдруг вспомнить, что ты не в конторе и не дома – нет, ты – Маркус Симс, художник, непременно великий художник, творящий если не шедевр живописи, то преднамеренное убийство, а перед тобой – твоя жертва, которая отдает свою жизнь в твои руки и смотрит на тебя как на своего спасителя, а ты и в самом деле ее спаситель.

– Странно, – медленно произнесла она, – еще вчера я не знала вас, а сегодня рассказываю вам свою жизнь. Вы мой друг.

– Ваш искренний друг, – ответил он, похлопывая ее по руке. – Уверяю вас, это так. – Он улыбнулся и оттолкнул свой стул.

Она протянула руку за его чашкой и блюдцем и поставила их в раковину, потом вытерла ребенку рот рукавом кофты.

– А теперь, мистер Симс, что бы вы предпочли сначала –

лечь в постель или писать портрет Джонни?

Он уставился на нее. Лечь в постель? Правильно ли он расслышал?

– Простите, не понял? – переспросил он.

Она стояла, терпеливо ожидая, когда он двинется с места.

– Как скажете, мистер Симс, – произнесла она. – Мне все равно. Я к вашим услугам.

Он почувствовал, как его шея медленно краснеет и краска приливает к лицу и лбу. Нет, тут все ясно, и недвусмысленная полуулыбка, и резкий кивок головы в сторону спальни не оставляют и тени сомнения. Эта несчастная девочка делает ему определенное предложение. Видимо, она считает, что он действительно рассчитывает... хочет... Это просто ужасно.

– Моя дорогая мадам Кауфман, – начал он (обращение «мадам» звучало как-то лучше, чем «миссис», и больше подходило для иностранки), – боюсь, тут какая-то ошибка. Вы меня не так поняли.

– Пожалуйста? – спросила она, озадаченная, а затем снова попыталась улыбнуться. – Не надо бояться. Никто не придет. А Джонни я привяжу.

Как нелепо. Привязать этого маленького мальчика... Вряд ли его слова могли дать повод столь неверно истолковать ситуацию. Однако, если он обнаружит свое вполне естественное негодование и уйдет из этого дома, рухнет весь его план, его прекрасный план, и придется начинать все сначала где-нибудь в другом месте.

– Это... это чрезвычайно любезно с вашей стороны, мадам Кауфман, – сказал он. – Я высоко ценю ваше предложение, столь великодушно. Но к несчастью, дело в том, что вот уже много лет я совершенно неспособен... старая военная рана... Я давно уже вынужден исключить все это из своей жизни. Все силы я вкладываю в свое искусство, в живопись, я поглощен ею. Вот почему я так обрадовался, найдя этот уединенный уголок, ведь теперь все в корне изменится. И если мы хотим стать друзьями...

Он подыскивал слова, чтобы выйти из неловкого положения. Она пожала плечами, и на лице ее не отразилось ни облегчения, ни разочарования. Как будет, так будет.

– Хорошо, мистер Симс, – сказала она. – Я подумала, может быть, вы одиноки. Я-то знаю, что такое одиночество. И потом, вы так добры. Если когда-нибудь вы почувствуете, что вам бы хотелось...

– О, я сразу же скажу вам, – быстро перебил он ее. – Непременно. Но увы, боюсь, что... А теперь – за работу, за работу! – И он снова улыбнулся, подчеркнуто засуетившись, и открыл дверь кухни. Слава богу, она застегнула кофту, которую начала было так угрожающе расстегивать. Она сняла ребенка со стула и приготовилась следовать за Фентоном.

– Я всегда мечтала посмотреть, как работает настоящий художник, – сказала она, – и – о чудо! – мне повезло. Джонни оценит это, когда станет старше. Как и куда мне пристроить его, мистер Симс? Поставить или посадить? Какая поза будет

лучше?

Нет, это уж слишком! Из огня да в полымя. Фентон дошел до белого каления. Эта женщина просто хочет его извести! Боже упаси, чтобы она тут околачивалась. Уж если придется возиться с этим противным мальчишкой, нужно по крайней мере отделаться от его матери.

– Поза не имеет никакого значения, – сказал он запальчиво. – Я не фотограф. И уж чего я совсем не выношу, так это когда смотрят, как я работаю. Посадите Джонни сюда, на стул. Надеюсь, он будет сидеть смирно?

– Я привяжу его, – сказала она, и, пока она ходила на кухню за ремешком, он задумчиво смотрел на холст на мольберте. С ним нужно что-то сделать, это ясно. Опасно оставлять холст чистым, она не поймет и заподозрит, что тут что-то неладно. Может быть, даже повторит свое ужасное предложение, сделанное пять минут назад...

Он взял один-два тюбика и выдавил немного краски на палитру. Сиена натуральная... Неаполитанская желтая... Хорошие названия им дают. Они с Эдной были в Сиене, когда только поженились. Он вспомнил кирпичные стены розовато-ржавого цвета и площадь – как же называлась эта площадь? – где устраивались знаменитые скачки. Неаполитанская желтая. Они никогда не бывали в Неаполе. Увидеть Неаполь и умереть. Жаль, что они не так уж много путешествовали. Ездили они всегда в одно и то же место, в Шотландию, ведь Эдна не любит жару. Лазурь... Вызывает ли она мысли

о темно-синем или светло-голубом? Лагуны в южных морях и летучие рыбы. Как празднично выглядят пятнышки красок на палитре...

– Вот так... будь умницей, Джонни. – Фентон поднял глаза. Женщина привязала ребенка к стулу и потрепала по головке. – Если вам что-нибудь понадобится, только позовите, мистер Симс.

– Благодарю вас, мадам Кауфман.

Она на цыпочках вышла из комнаты, осторожно прикрыв дверь. Художнику нельзя мешать, художника надо оставить наедине с его произведением.

– Па, – сказал вдруг Джонни.

– Сиди смирно, – резко приказал Фентон.

Он разламывал пополам кусок угля, так как читал где-то, что художники сначала рисуют голову углем. Держа отломанный кусок между пальцами и поджав губы, он нарисовал на холсте круг, похожий на полную луну. Затем он отступил назад и полуприкрыл глаза. Странно, этот круг похож на лицо без черт... Джонни следил за ним, широко раскрыв глаза. Фентон понял, что нужен гораздо больший холст, так как на том, что стоит на мольберте, поместится только голова ребенка. Вышло бы гораздо эффектнее, если бы на холсте была голова и плечи, потому что в этом случае он мог бы использовать берлинскую лазурь, чтобы написать синий свитер ребенка.

Он заменил первый холст другим, побольше. Да, этот раз-

мер гораздо лучше. Теперь снова контур лица... глаза... две маленькие точки – нос, небольшая щель – рот... две черточки – шея, и еще две линии, изогнутые почти под прямым углом, как вешалка, – плечи. Самое настоящее лицо, человеческое лицо – правда, пока еще не совсем лицо Джонни, но дайте срок. Теперь важно нанести на холст краски. Он лихо радочно выбрал кисть, окунул ее в скипидар и масло и затем, осторожно касаясь лазури и белил, чтобы смешать их, нанес смесь на холст. Яркий цвет, мерцающий и искрящийся от избытка масла, казалось, пристально глядит на него с холста, требуя добавки. Правда, этот синий отличается от цвета свитера Джонни, ну и что? Осмелев, он добавил еще краски и размазал ее, и теперь, когда синий был нанесен отчетливыми мазками на всю нижнюю часть холста, он как-то странно волновал. Синий цвет подчеркивал белизну лица, нарисованного углем, и оно выглядело теперь как настоящее. Оказывается, кусок стены за головой ребенка, который был всего лишь обычной стеной, когда Фентон впервые вошел в комнату, определенно имеет свой цвет – розовато-зеленый. Он хватал тюбик за тюбиком и выдавливал краски. Так как не хотелось портить кисть с синей краской, он выбрал другую... черт возьми, эта жженая сиена похожа вовсе не на ту Сиену, в которой он был, а скорее на грязь. Надо ее стереть, нужны тряпки – что-нибудь, что не испортит... Он быстро подошел к двери.

– Мадам Кауфман, – позвал он. – Мадам Кауфман! Не

могли бы вы найти мне какие-нибудь тряпки?

Она явилась немедленно, разрывая на ходу какое-то нижнее белье на тряпки, и он выхватил их и стал счищать противную жженую сиену с кисти. Обернувшись, он увидел, что она украдкой смотрит на холст.

– Не надо! – закричал он. – Никогда нельзя смотреть на работу художника, когда он ее только начал, – ведь это черновой набросок!

Получив резкий отпор, она отступила.

– Простите, – сказала она и затем неуверенно добавила: – Это очень современно, не так ли?

Он пристально посмотрел на нее, потом перевел взгляд на холст, с холста – на Джонни.

– Современно? – переспросил он. – Конечно современно. А как вы себе это представляли? Вот так? – Он указал кистью на жеманно улыбающуюся Мадонну над камином. – Я иду в ногу со временем. Так я вижу. А теперь позвольте мне продолжать.

На одной палитре уже не хватало места для всех красок. Слава богу, он купил две. Он начал выдавливать краски из остальных тюбиков на вторую палитру и смешивать их, и теперь это было самое настоящее буйство красок – закаты, каких никогда не бывало и которых никогда не видали. Венецианская красная – не Дворец дождей, а маленькие капли крови, которые горят в мозгу и не должны пролиться, цинковые белила – чистота, а не смерть, желтая охра... желтая охра –

это жизнь во всем изобилии, это обновление, это весна, это апрель в каком-то ином времени, в каком-то ином месте...

Неважно, что стемнело и пришлось включить свет. Ребенок уснул, но Фентон продолжал писать. Женщина вошла и сказала ему, что уже восемь часов. Не хочет ли он поужинать?

– Мне совсем нетрудно, мистер Симс, – сказала она.

Неожиданно Фентон осознал, где находится. Сейчас восемь часов, а они всегда обедают без четверти восемь. Эдна ждет и гадает, что с ним случилось. Он положил палитру и кисти. Руки в краске, пиджак тоже...

– Боже мой, что же делать? – воскликнул он в панике.

Женщина поняла. Она схватила скипидар и тряпку и принялась чистить ему пиджак. Он прошел за ней на кухню и начал лихорадочно отмывать руки над раковиной.

– В дальнейшем, – сказал он, – мне всегда надо будет уходить до семи часов.

– Да, – сказала она, – я запомню позвать вас. Вы вернетесь завтра?

– Конечно, – нетерпеливо ответил он, – конечно. Не трогайте ничего из моих вещей.

– Да, мистер Симс.

Он поспешил из подвала вверх по лестнице и, выйдя из дома, побежал по улице. На ходу он начал сочинять историю, которую расскажет Эдне. Он зашел в клуб, и там несколько знакомых уговорили его сыграть в бридж. Не хотелось пре-

рывать игру, и он забыл о времени. Сойдет. И завтра снова сойдет. Эдна должна привыкнуть, что из конторы он заходит в клуб. В голову не приходит ничего лучше, чтобы она не догадалась о его восхитительной двойной жизни.

Поразительно, как мелькают дни, которые раньше тянулись и казались бесконечными. Правда, пришлось кое-что изменить. Он вынужден был лгать не только Эдне, но и в конторе. Для них он придумал неотложные дела, требовавшие его присутствия во второй половине дня, – новые деловые контакты, семейная фирма. Пока что, сказал Фентон, он сможет работать в конторе только неполный день. Разумеется, он понимает, что нужно уладить некоторые финансовые вопросы. Однако, если старший партнер сочтет... Поразительно, но они проглотили и это. Да и Эдна ничего не заподозрила насчет клуба. Правда, не всегда это был клуб – иногда дополнительная работа где-то в другом месте в Сити. Он таинственно намекал на успешное осуществление какой-то крупной сделки, причем этот вопрос был слишком щекотливым и запутанным, чтобы его обсуждать. Казалось, Эдна довольна своей жизнью. Ее жизнь текла как обычно – только для одного Фентона изменилось абсолютно все. Теперь ежедневно примерно в половине четвертого он проходил в ворота дома номер 8 и, взглянув на кухонное окно подвала, видел лицо мадам Кауфман, выглядывающей из-за мандариновых занавесок. Затем она проскальзывала через садик и впускала его с черного хода – так им казалось безопаснее. Они решили не пользоваться парадной дверью, поскольку черный ход

меньше обращает на себя внимание.

– Добрый день, мистер Симс.

– Добрый день, мадам Кауфман.

Совершенно ни к чему называть ее Анной, а то еще подумает... еще вообразит... Что за вздор! Обращение «мадам» поддерживает должную дистанцию между ними. Она действительно ему очень полезна: убирает мастерскую – так они всегда называют его комнату, – моет кисти, каждый день готовит новые тряпки и, как только он появляется, наливает чашку крепкого горячего чая (этот чай не имеет ничего общего с тем пойлом, которое заваривают у них в конторе). А мальчик... мальчик теперь очень трогательный. Фентон стал относиться к нему терпимее, как только закончил его первый портрет. Казалось, что ребенок как бы заново существует благодаря ему, что это его творение.

Была середина лета, и Фентон уже написал много его портретов. Ребенок продолжал звать его «па». Но ему позировал не только мальчик – писал он также и мать, и это приносило еще большее удовлетворение. Изображая женщину на холсте, Фентон испытывал необыкновенное ощущение силы. Причем дело было не в ее глазах, ее чертах, ее цвете – видит бог, она достаточно бесцветна! – нет, дело в ее очертаниях. Главное – то, что он может перенести на холст плоть живого человека, женщины. И неважно, если то, что он рисует и пишет, не имеет никакого сходства с женщиной из Австрии по имени Анна Кауфман, – не в этом суть. Есте-

ственно, когда эта глупышка позировала ему в первый раз, она ожидала увидеть нечто вроде картинки с коробки шоколадных конфет, однако он вскоре заставил ее замолчать.

– Вы действительно так меня видите? – спросила она грустно.

– А в чем дело?

– Ну... просто... вы делаете мне рот, как у большой рыбы, готовой что-то проглотить, мистер Симс.

– Рыбы? Что за несусветная чушь! – Вероятно, ей бы хотелось, чтобы он нарисовал рот «сердечком»! – Беда в том, что вы никогда не бываете довольны. Все женщины одинаковы.

Он сердито принялся смешивать краски. Она не имеет права критиковать его работу.

– Нехорошо с вашей стороны так говорить, мистер Симс, – сказала она через минуту-другую. – Я очень довольна пятью фунтами, которые вы мне даете каждую неделю.

– Я говорил не о деньгах, – ответил он и, снова повернувшись к холсту, тронул розовым руку. – О чем я говорил? – спросил он. – Понятия не имею. О женщинах, не так ли? Я в самом деле не помню. Я же просил вас не мешать.

– Простите, мистер Симс.

Вот так, подумал он. Замри. Знай свое место. Чего он не выносит, так это женщину, которая спорит, женщину, которая вечно ворчит, женщину, которая отстаивает свои права, – не для того они созданы. Создатель задумал их уступчивыми, покладистыми, мягкими и кроткими. Беда в том,

что они очень редко такими бывают. Нет, только женщина, рисуемая фантазией, или промелькнувшая на улице, перегнувшаяся через перила балкона за границей, или на миг показавшаяся в окне, глядящая с фотографии в рамке или с холста – как та, что перед ним сейчас (он сменил одну кисть на другую, теперь он проделывал это очень ловко), – только такая женщина подлинна и реальна. Подумать только – взять и сказать, что он сделал ей рот, как у рыбы...

– Когда я был моложе, – произнес он вслух, – у меня была мечта.

– Стать великим художником? – спросила она.

– Да нет... не совсем так, – ответил он, – просто стать великим. Прославиться. Добиться чего-то выдающегося.

– Еще есть время, мистер Симс, – сказала она.

– Возможно... возможно...

Не следует делать кожу розовой, она должна быть оливковой, теплого оливкового тона. Отец Эдны, с его манерой вечно критиковать их образ жизни, был настоящим бедствием. С того самого момента, как Фентон обручился с Эдной, он ни разу ничего не сделал правильно. Старик вечно брюзжал, вечно придирался. «Уехать жить за границу? – воскликнул он. – За границей нельзя прилично заработать на жизнь. Да и Эдна не сможет там жить, вдали от друзей и от всего, к чему привыкла. Никогда не слышал ничего подобного».

Ну, он умер, и тем лучше. Он с самого начала стоял между ними. Маркус Симс... Художник Маркус Симс – совсем

другое дело. Сюрреалист. Модернист. Старик в гробу переворачивается.

– Без четверти семь, – прошептала женщина.

– Черт... – вздохнул он и отступил от мольберта. – Терпеть не могу вот так прерываться, сейчас совсем светло по вечерам, – сказал он. – Я вполне мог бы поработать еще часок-другой.

– А почему бы вам не поработать еще?

– Увы – домашние узы, – сказал он. – У моей бедной мамы это вызвало бы припадок. – За истекшие недели он выдумал старую мать, прикованную к постели. Он обещал быть дома каждый вечер без четверти восемь. Если он не придет вовремя, врачи не ручаются за последствия. Он очень хороший сын.

– А что если вам привезти ее сюда жить? – сказала его натурщица. – Так одиноко по вечерам, когда вы уходите. Вы знаете, ходят слухи, что этот дом могут и не снести. Если это правда, вы бы могли занять квартиру на первом этаже. Вашей маме тут будет хорошо.

– Нет, она теперь никуда не переедет, – сказал Фентон. – Ей за восемьдесят. Очень постоянна в своих привычках. – Он улыбнулся, представив себе лицо Эдны, если он скажет ей, что им бы лучше продать дом, в котором они прожили почти двадцать лет, и поселиться в доме номер 8 на Боулдинг-стрит. Можно себе представить это великое переселение! И Альхузонов, явившихся на воскресный обед!

– Кроме того, – сказал он, думая вслух, – исчез бы весь смысл.

– Какой смысл, мистер Симс?

Он перевел взгляд с изображения, нанесенного на холст красками и так много значащего для него, на женщину с прямыми волосами и бессмысленным взглядом, которая сидит здесь, позируя, и попытался вспомнить, что заставило его несколько месяцев назад подняться по ступенькам грязноватой желто-коричневой виллы и спросить комнату. Конечно, что-то просто вызвало у него мимолетный приступ раздражения – бедная Эдна, ветреный пасмурный день на набережной Виктории, мысль о визите Альхузонов. Но он успел уже забыть, о чем думал в то давнее воскресенье, и знал только, что его жизнь изменилась с тех пор и что эта маленькая узкая комната в подвале – его утешение, а женщина Анна Кауфман и ребенок Джонни каким-то образом символизируют его уход от себя и покой. Она всего-навсего готовит ему чай и моет кисти. Она фон, как кошка, которая мурлычет и приседает на подоконнике при его приближении, хотя он до сих пор не дал ей ни единой крошки.

– Ничего, мадам Кауфман, скоро мы устроим выставку, и тогда о вашем лице и о лице Джонни заговорит весь город, – сказал он.

– Нынче... скоро... не скоро... никогда. Так у вас говорят, когда гадают по вишневым косточкам? – сказала она.

– Вы не верите, – ответил он. – Ну что ж, я докажу, вот

подождите – и увидите.

Она начала еще раз рассказывать длинную, нудную историю о человеке, от которого сбежала в Австрии, и о муже, который покинул ее в Лондоне, – теперь он знал всю эту историю так хорошо, что мог бы подсказывать ей, – но это не докучало ему. Ее рассказ тоже фон, помогающий уйти от себя к благословенной безымянности. Пусть болтает, говорил он себе, так она сидит смирно, а он может сосредоточиться на изображении апельсина, который она сосет, давая дольки Джонни, сидящему у нее на коленях. Этот апельсин больше, чем настоящий, ярче, чем настоящий, крупнее и круглее.

Когда он шел по набережной Виктории по вечерам – теперь эта прогулка уже не вызывала воспоминаний о том воскресенье, она входила в его новую жизнь, – он выбрасывал в реку эскизы и наброски углем, переведенные в цвете на холст и потому уже ненужные. Вместе с ними выкидывались использованные тюбики с красками, тряпки, кисти, выпачканные маслом. Он бросал их с моста Альберта и наблюдал, как они какое-то мгновение плывут, или тонут, или их уносит вдаль и они становятся приманкой для какой-нибудь взъерошенной, почерневшей от копоти чайки. И все его горести уплывали вместе с ненужным хламом. Вся его боль.

4

Он условился с Эдной отложить отпуск до середины сентября – тогда он сможет закончить работу над автопортретом, который завершит серию. Отпуск в Шотландии будет приятным, приятным впервые за все эти годы – ведь теперь у него есть причина ждать возвращения в Лондон.

Короткое утро, которое он проводил в конторе, теперь не шло в счет. Он с грехом пополам справлялся с текущими делами и никогда не возвращался после ланча. Коллегам он говорил, что его другие обязательства становятся всё настоятельнее с каждым днем: фактически он решил порвать с этой фирмой в течение осени.

– Если бы вы не предупредили нас, мы бы предупредили вас, – сухо сказал ему старший партнер.

Фентон пожал плечами. Ну что же, если им угодно ссориться, то чем раньше он уйдет, тем лучше. Он вообще мог бы написать им из Шотландии, тогда всю осень и зиму он посвятил бы живописи. Можно снять настоящую мастерскую: в конце концов, номер 8 – лишь временное пристанище. А в большой мастерской с хорошим освещением и кухонькой при ней – как раз такие строятся всего через несколько улиц – было бы хорошо и зимой. Там бы он смог по-настоящему работать, действительно чего-то добиться и не чувствовать себя всего-навсего любителем, работающим урывками.

Автопортрет целиком поглотил его. Мадам Кауфман разыскала зеркало и повесила его для Фентона на стену, так что начать было довольно просто. Но он обнаружил, что не может написать свои глаза. Их пришлось писать закрытыми, и он стал похож на спящего. На больного. Это производило жутковатое впечатление.

– Итак, вам не нравится? – спросил Фентон мадам Кауфман, когда та зашла сказать, что уже семь часов.

Она покачала головой и сказала:

– У меня от такого мурашки по спине, как у вас говорят. Нет, мистер Симс, это не вы.

– Ультрасовременно, даже слишком, на ваш вкус? – бодро заметил он. – Я полагаю, тут подходит термин «авангардизм».

Сам он был в восторге. Автопортрет – произведение искусства.

– Ну, пока что довольно, – сказал он. – На следующей неделе я уезжаю отдыхать.

– Уезжаете?

В ее голосе прозвучала нота такой тревоги, что он обернулся и взглянул на нее.

– Да, повезу свою старую мать в Шотландию. А что?

Она пристально смотрела на него взглядом, полным муки, и выражение ее лица резко изменилось. Можно было подумать, что он нанес ей страшный удар.

– Но у меня же нет никого, кроме вас, – сказала она. – Я

буду одна.

– Разумеется, вы получите ваши деньги, – торопливо сказал он. – Я дам их вам вперед. Да мы и едем на каких-нибудь три недели.

Она все так же пристально смотрела на него, и вдруг – вот тебе и на! – глаза ее наполнились слезами и она заплакала.

– Я не знаю, что мне делать, – сказала она. – Я не знаю, куда мне идти.

Этого еще не хватало! Ну и что же, позвольте спросить, она имеет в виду? Что ей делать и куда идти! Он обещал ей деньги. Ей просто надо продолжать жить, как она жила раньше, до него. Seriously, если она собирается вести себя подобным образом, то чем раньше он подыщет себе мастерскую, тем лучше. Уж меньше всего на свете ему хочется нянчиться с мадам Кауфман.

– Знаете ли, моя милая мадам Кауфман, я здесь не навсегда, – сказал он твердо. – Вскоре я перееду. Возможно, этой осенью. Мне нужно большее помещение. Разумеется, я извещу вас заранее. Но, может быть, вам имеет смысл отдать Джонни в детский сад и поступить куда-нибудь приходящей прислугой? В конце концов, так будет лучше для вас же.

Право, такое впечатление, будто он избил ее. Она была ошеломлена и совершенно подавлена.

– Что же мне делать? – тупо повторяла она и затем спросила, как будто все еще не веря: – Когда вы уезжаете?

– В понедельник, – ответил он, – в Шотландию. Мы будем

в отъезде три недели. – Последнюю фразу он подчеркнул, чтобы не оставалось никаких сомнений на этот счет. Беда в том, что она очень неумна, решил он, моя руки над кухонной раковиной. Она хорошо заваривает чай и умеет мыть кисти – вот и все. – Вам бы тоже следовало отдохнуть, – сказал он ей бодро. – Взяли бы и съездили с Джонни по реке в Саутенд или еще куда-нибудь.

Ответа не последовало. Лишь скорбный взгляд и безнадежное пожимание плечами.

Следующий день, пятница, – конец его рабочей недели. Утром он получил деньги по чеку, с тем чтобы заплатить ей за три недели вперед. Он добавил пять фунтов сверху ей в утешение.

Подойдя к номеру 8, он увидел Джонни, привязанного к скребку на старом месте, на верхней площадке лестницы. Она уже перестала привязывать мальчика. Когда Фентон, как обычно, вошел с черного хода в подвал, радио не работало и дверь в кухню была закрыта. Он открыл ее и заглянул. Дверь в спальню тоже закрыта.

– Мадам Кауфман?.. – позвал он. – Мадам Кауфман?

Она ответила через минуту глухим и слабым голосом.

– Что? – спросила она.

– Что-нибудь случилось?

Еще пауза, и затем:

– Я не очень хорошо себя чувствую.

– Простите, – сказал Фентон. – Могу ли я чем-нибудь по-

мочь?

– Нет.

Ну вот, пожалуйста. Явная демонстрация. Она никогда не выглядела совсем здоровой, но такого раньше не проделывала. Она и не подумала приготовить ему чай: даже поднос не поставлен. Он положил конверт с деньгами на кухонный стол.

– Я принес ваши деньги, – сказал он. – Всего двадцать фунтов. Почему бы вам не погулять и не потратить часть этих денег? Чудесный день, вам было бы полезно выйти на воздух.

Бодрый тон – ответ на ее поведение. Он не позволит вымогать у себя сочувствие подобным образом!

Он прошел в мастерскую, решительно насвистывая, и возмутился, обнаружив, к своему крайнему удивлению, что все там в том виде, как он оставил накануне вечером. Немытые кисти все так же лежат на испачканной палитре. К комнате даже не притрагивались! Ну в самом деле, дальше ехать некуда! Прямо руки чешутся забрать конверт с кухонного стола. Зря он заикнулся об отпуске – надо было послать деньги по почте во время уик-энда и приложить к переводу записку, что он уехал в Шотландию. А теперь вот что получилось... этот возмутительный приступ дурного настроения, пренебрежение своими обязанностями. Конечно, это оттого, что она иностранка. Им совершенно нельзя верить. Всегда кончается тем, что в них разочаровываешься.

Он вернулся на кухню с кистями, палитрой, скипидаром и тряпками и до отказа открыл краны, стараясь делать все как можно более шумно: пусть знает, что ему придется выполнять грязную работу самому. Он гремел чашкой и громыхал жестянкой, в которой она держала сахар, но из спальни – ни звука. Ладно, черт с ней, пусть взвинчивает себя дальше.

Вернувшись в студию, он поработал спустя рукава, добавляя последние штрихи к автопортрету, но никак не мог сосредоточиться. Ничего не получалось: в автопортрете не было жизни. Она испортила ему весь день. Наконец, на час с лишним раньше обычного времени, он решил пойти домой. Однако после вчерашнего он вынужден был заняться уборкой сам, не надеясь на нее. Она способна три недели ни к чему здесь не притронуться.

Перед тем как составить полотна вместе, он выстроил их в ряд, прислонив к стене, и попытался представить себе, как бы они выглядели, если их развесить на выставке. Они бросаются в глаза, в этом нет сомнения. Мимо них нельзя пройти. Во всей коллекции есть нечто... пожалуй, нечто выразительное. Он не знает, что именно, – естественно, ему трудно судить о собственной работе. Но... например, вот эта голова мадам Кауфман – та самая, в которой, по ее мнению, есть что-то рыбе. Ну что ж, возможно, и есть какое-то сходство с рыбой в форме рта... или дело в глазах, которые слегка нависают? Все равно, работа блестящая. Он уверен, что блестящая. И хотя автопортрет спящего не завершен, в нем есть

какая-то значительность.

Он улыбнулся, уже видя, как они с Эдной заходят в одну из маленьких галерей неподалеку от Бонд-стрит и он небрежно роняет: «Мне говорили, здесь выставка какого-то новенького. Очень спорный. Критики не могут разобрать, гений он или сумасшедший». А Эдна: «Наверно, ты впервые заходишь в подобное место». Какое ощущение силы, какое ликование! А потом, когда он объявит ей новость, в ее взгляде появится проблеск нового уважения. Осознание того, что ее муж наконец, после стольких лет, добился славы. Ему хочется именно такого шока от изумления. Вот именно! Шока от изумления...

Фентон окинул прощальным взглядом знакомую комнату. Полотна составлены, мольберт разобран, кисти и палитра вычищены, вытерты и завернуты. Если он решит удрать, когда вернется из Шотландии, – а он абсолютно уверен, что это единственно правильное решение после дурацкого поведения мадам Кауфман, – то все готово к переезду.

Он закрыл окно и дверь и, неся под мышкой пакет с тем, что он называл «брак» – ненужные эскизы, наброски и всякий хлам, накопившийся за неделю, – еще раз прошел на кухню и позвал через закрытую дверь спальни.

– Я ухожу, – сказал он. – Надеюсь, завтра вам будет лучше. Увидимся через три недели.

Он заметил, что конверт исчез с кухонного стола. Значит, ей не так уж и плохо.

И тут он услышал, как она ходит по спальне, и через одну-две минуты дверь приоткрылась на несколько дюймов: она стояла у самой двери. Он был поражен. Выглядела она ужасно: в лице ни кровинки, волосы, прямые и сальные, не причесаны. Она обернула вокруг пояса одеяло, и, хотя день был жаркий и душный, а воздух в подвале спертый, на ней был толстая шерстяная кофта.

– Вы показывались доктору? – спросил он с некоторым участием.

Она покачала головой.

– На вашем месте я бы показался, – сказал он. – Вы очень неважно выглядите. – Тут он вспомнил о мальчике, который все еще был привязан к скребку наверху. – Привести к вам Джонни? – предложил он.

– Пожалуйста, – ответила она.

Ее глаза напомнили ему глаза животного, которое мучается, и он расстроился. Пожалуй, это ужасно – вот так уйти и оставить ее в таком состоянии. Но чем он может помочь? Он поднялся по лестнице из подвала, прошел через пустую прихожую и открыл парадную дверь. Мальчик сидел сгорбившись. Вероятно, он не пошевелился с тех пор, как Фентон вошел в дом.

– Пошли, Джонни, – сказал он. – Я отведу тебя вниз к маме.

Ребенок дал отвязать себя. Он так же апатичен, как эта женщина.

Что за безнадежная пара, подумал Фентон. Они действительно должны быть у кого-то на попечении, в каком-нибудь благотворительном учреждении – ведь существуют же, вероятно, какие-то места, где заботятся о таких людях. Он снес ребенка по лестнице и посадил на его стул у кухонного стола.

– Как насчет его чая? – спросил он.

– Сейчас приготовлю, – ответила мадам Кауфман.

Она вышла из спальни, шаркая, все еще обернутая в одеяло, с каким-то бумажным свертком, перевязанным бечевкой.

– Что это? – спросил он.

– Мусор, – ответила она. – Не могли бы вы выбросить его вместе с вашим? Мусорщики придут только на следующей неделе.

Он взял сверток и выждал минуту, размышляя, что же еще сделать для нее.

– Ну вот, – проговорил он неловко, – у меня как-то неспокойно на душе. Вы уверены, что вам больше ничего не нужно?

– Да, – сказала она. Она даже не назвала его мистером Симсом, не попыталась улыбнуться или протянуть руку. В ее глазах даже нет укора. В них безмолвие.

– Я пришлю вам открытку из Шотландии, – сказал он и потрепал Джонни по головке. – Пока, – добавил он. Обычно он никогда не употреблял это нелепое выражение. Затем он вышел с черного хода, завернул за угол дома и, пройдя через ворота, пошел по Боултинг-стрит. У него было тяжелое чув-

ство, что он вел себя как-то нехорошо, проявил мало участия. Следовало взять инициативу в свои руки и заставить ее показаться врачу.

Сентябрьское небо покрыто облаками, а набережная Виктории пыльная, унылая. Деревья в парке Баттерси по-осеннему печальные и увядшие. Слишком тусклые, слишком коричневые. Конец лета. Как хорошо уехать сейчас в Шотландию, вдохнуть чистый холодный воздух.

Он развернул свой сверток и начал выбрасывать «брак» в реку. Эскиз головы Джонни – действительно никуда не годится. Попытка изобразить кошку. Еще холст, который уже нельзя использовать, так как он чем-то выпачкан. Все это полетело с моста и было унесено течением. Холст поплыл, как спичечный коробок, белый и хрупкий, и было немного печально смотреть, как он исчезает из виду.

Он пошел по набережной обратно, к своему дому, и, перед тем как свернуть, чтобы перейти через дорогу, вдруг вспомнил, что все еще несет бумажный сверток мадам Кауфман. Он забыл выбросить его вместе со своим «браком», поскольку засмотрелся на то, как исчезает его собственный мусор.

Фентон хотел было бросить сверток в реку, как вдруг заметил, что за ним наблюдает полицейский с противоположной стороны улицы. Его охватило беспокойное чувство, что воспрещается подобным образом избавляться от мусора. Смутьившись, он пошел дальше и, пройдя сто ярдов, оглянулся через плечо. Полицейский все еще пристально смот-

рел ему вслед. Как ни нелепо, он почувствовал себя виноватым. Сильная рука закона. Он продолжал идти, небрежно размахивая свертком и мурлыкая какую-то песенку. К черту реку – он выбросит сверток в какую-нибудь мусорную урну в парке Челсйского инвалидного дома.

Он завернул в парк и бросил сверток в первую же урну, поверх двух-трех газет и кожуры от апельсина. В этом нет никакого правонарушения. Фентону было видно, как этот дуралей полицейский наблюдает за ним через ограду, но он постарался и виду не подать этому типу, что заметил его. Можно подумать, что он пытается избавиться от бомбы! Потом он быстро зашагал домой и, уже поднимаясь по лестнице, вспомнил, что Альхузоны придут на обед. Традиционный обед перед отпуском. Теперь эта мысль не вызвала у него тоску, как раньше. Он поболтает с ними обоими о Шотландии, и у него не возникнет ощущения, что он задыхается в ловушке. Ну и вылупил бы глаза Джек Альхузон, знай он, как проводит Фентон вторую половину дня! Он бы ушам своим не поверил!

– Хелло, ты сегодня рано, – сказала Эдна, которая занималась цветами в гостиной.

– Да, – ответил он. – Я заранее привел все в порядок в конторе. Пожалуй, я займусь составлением маршрута. Я с нетерпением ожидаю поездки на север.

– Я так рада, – сказала она. – Я боялась, что тебе надоело каждый год ездить в Шотландию. А у тебя совсем не усталый

вид. Ты давно так хорошо не выглядел.

Она поцеловала его в щеку, и он тоже поцеловал ее, очень довольный. Улыбаясь, он пошел подбирать карты Шотландии. Она не знает, что ее муж – гений.

Появились Альхузоны и как раз садились обедать, когда зазвонил колокольчик у парадной двери.

– Кто бы это мог быть? – воскликнула Эдна. – Только не говори мне, что мы пригласили кого-то еще и начисто забыли об этом.

– Я не оплатил счет за электричество, – сказал Фентон. – Прислали отключить нас, и мы останемся без суфле.

Он театрально застыл над цыпленком, которого разрезал, и Альхузоны рассмеялись.

– Я схожу, – сказала Эдна. – Не смею отрывать Мэй от кухни. Теперь вы знаете меню – это суфле.

Через несколько минут она вернулась, и на лице ее было написано недоумение и озадаченность.

– Это не электрик, это полиция, – сказала она.

– Полиция? – переспросил Фентон.

Джек Альхузон погрозил пальцем.

– Я так и думал, – сказал он. – На этот раз ты допрыгался, старина.

Фентон положил нож для нарезания мяса.

– Seriously, Эдна, что им нужно? – спросил он.

– Понятия не имею, – ответила она. – Один – полицейский, второй, по-моему, тоже, но только в штатском. Они хо-

тят побеседовать с хозяином дома.

Фентон пожал плечами.

– Вы продолжайте, – обратился он к жене. – Попробую отделаться от них. Возможно, они перепутали адрес.

Он вышел из столовой в переднюю, но как только увидел полицейского в форме, выражение его лица изменилось. Он узнал человека, наблюдавшего за ним на набережной Виктории.

– Добрый вечер, – сказал он. – Что вам угодно?

Человек в штатском взял инициативу в свои руки.

– Вы случайно не проходили через парк Челсийского инвалидного дома сегодня во второй половине дня, сэр? – осведомился он. Оба пристально смотрели на Фентона, и он понял, что отрицать бесполезно.

– Да, – сказал он, – да, проходил.

– У вас в руках был сверток?

– Кажется, был.

– Вы бросили этот сверток в мусорную урну у входа на набережную, сэр?

– Да, бросил.

– Не затруднит ли вас сказать нам, что было в свертке?

– Понятия не имею.

– Я могу иначе сформулировать вопрос, сэр. Не могли бы вы сказать нам, откуда у вас этот сверток?

Фентон колебался. Куда они клонят? Не нравится ему их метод допроса.

– Не понимаю, какое это может иметь к вам отношение, – сказал он. – Бросать мусор в урну никому не возбраняется, не так ли?

– Не всякий мусор, – сказал человек в штатском.

Фентон перевел взгляд с одного на другого. У них были серьезные лица.

– Не возражаете, если я задам вам вопрос? – сказал он.

– Нет, сэр.

– Вы знаете, что было в свертке?

– Да.

– Вы хотите сказать, что этот полицейский – помнится, я проходил мимо него, когда он был на посту, – фактически преследовал меня и вынул сверток, после того как я бросил его в урну?

– Верно.

– Весьма необычный поступок. Полагаю, он принес бы гораздо больше пользы, если бы занимался своими прямыми обязанностями.

– Дело в том, что в его прямые обязанности как раз и входит наблюдение за людьми, которые ведут себя подозрительно.

Фентон начал раздражаться.

– В моем поведении не было абсолютно ничего подозрительного, – заявил он. – Дело в том, что сегодня днем я собрал всякое барахло в своей конторе – у меня привычка выбрасывать мусор в реку по пути домой, а заодно кормить ча-

ек. Сегодня я собирался, как обычно, выбросить свой пакет, как вдруг заметил, что вот этот полицейский смотрит в мою сторону. Мне пришло в голову, что, наверно, воспрещается выбрасывать мусор в реку, и я решил бросить его в мусорную урну.

Двое мужчин продолжали пристально смотреть на него.

– Вы только что заявили, что не знаете, что находилось в свертке, – сказал человек в штатском, – тогда как сейчас утверждаете, что там был мусор из конторы. Какое утверждение верно?

У Фентона появилось ощущение, что его загоняют в угол.

– Оба утверждения верны, – огрызнулся он. – Этот сверток мне завернули сегодня в конторе, и я не знаю, что туда положили. Иногда они кладут черствое печенье для чаек, и тогда я разворачиваю свертки и бросаю птицам крошки по пути домой, как уже говорил вам.

Нет, не пройдет, это видно по их застывшим лицам. Действительно, все это звучит неубедительно: мужчина средних лет собирает мусор, чтобы выбросить его в реку по пути домой из конторы, точно так же, как маленький мальчик бросает с моста ветки, чтобы посмотреть, как они выплывут с другой стороны. Но он не смог придумать экспромтом ничего лучше, и теперь надо придерживаться этого варианта. В конце концов, тут нет ничего противозаконного, в худшем случае его можно назвать эксцентричным.

Полицейский в штатском промолвил лишь:

– Прочтите ваши записи, сержант.

Человек в форме вынул свою записную книжку и прочел:

– «Сегодня в пять минут седьмого я дежурил на набережной Виктории и заметил, что какой-то мужчина на противоположной стороне улицы как будто собирается выбросить в реку сверток. Он увидел, что я наблюдаю за ним, и быстро пошел дальше, затем оглянулся через плечо, чтобы посмотреть, наблюдаю ли я еще за ним. Его поведение было подозрительным. Затем он подошел к входу в парк Челсийского инвалидного дома и, украдкой оглядевшись, бросил сверток в мусорную урну и поспешно удалился. Я подошел к урне и вытащил сверток, а затем последовал за этим мужчиной к Эннерсли-сквер, четырнадцать, куда он и вошел. Я отнес сверток в полицейский участок и передал его дежурному. Мы вместе осмотрели сверток. В нем находилось тело недоношенного новорожденного младенца».

Он захлопнул записную книжку.

Фентон почувствовал, как из него уходит вся его сила. Ужас и страх слились в одно густое неодолимое облако, и он рухнул на стул.

– О господи, – сказал он. – О господи, что случилось?

Сквозь облако он увидел Эдну, глядящую на него из открытой двери столовой, а за ней – Альхузонов. Человек в штатском говорил:

– Я вынужден попросить вас проехать с нами в участок и дать показания.

5

Фентон сидел в кабинете инспектора полиции. За письменным столом сидел сам инспектор, здесь же находились полицейский в штатском, полицейский в форме и кто-то еще, видимо врач. Здесь же была и Эдна – он особенно настаивал на том, чтобы присутствовала Эдна. Альхузоны ждали на улице. Фентона ужаснуло выражение лица Эдны: она явно не верит ему. Не верят и полицейские.

– Да, это продолжается шесть месяцев, – повторил он. – Когда я говорю «продолжается», я имею в виду свою живопись, больше ничего, абсолютно ничего... Меня охватило желание писать... Я не могу это объяснить. Никогда не смогу. Это просто нашло на меня. И под влиянием порыва я вошел в ворота дома номер восемь на Боултинг-стрит. К дверям подошла женщина, и я спросил, не может ли она сдать комнату. После разговора, длившегося несколько минут, она сказала, что комната есть – это ее собственная комната в цокольном этаже. К домовладельцу это не имеет отношения – мы условились ничего не говорить домовладельцу. Итак, я снял эту комнату и ходил туда каждый день в течение шести месяцев. Я ничего не говорил об этом своей жене... Думал, она не поймет.

Он в отчаянии повернулся к Эдне, а она просто сидела, пристально глядя на него.

– Я признаю, что лгал. Лгал дома, лгал в конторе. Я говорил в конторе, что у меня контакты с другой фирмой, что я хожу туда днем, а жене говорил – подтверди, Эдна, – жене говорил, что поздно задерживаюсь в конторе либо что играю в бридж в клубе. На самом деле я каждый день ходил в дом номер восемь на Боултинг-стрит. Каждый день.

Он не сделал ничего дурного. С какой стати они так уставились на него? И почему Эдна вцепилась в ручки кресла?

– Сколько лет мадам Кауфман? Не знаю. Наверно, лет двадцать семь... или тридцать. Трудно сказать, сколько ей лет... У нее маленький мальчик, Джонни... Она австрийка, она вела очень печальную жизнь, муж бросил ее... Нет, я никогда никого не видел в доме, никаких других мужчин... Говорю вам, я не знаю... Не знаю. Я ходил туда заниматься живописью. Я не ходил туда ни за чем другим. Она вам скажет. Она вам скажет правду. Я уверен, что она очень привязана ко мне... По крайней мере – нет, я не это имею в виду. Когда я говорю «привязана», я имею в виду, что она благодарна за деньги, которые я плачу ей... то есть это квартплата, пять фунтов за комнату. Больше между нами абсолютно ничего не было, да и быть не могло, это совершенно исключено... Да, да, конечно, я понятия не имел, что она в положении. Я не наблюдателен... такую вещь я бы не заметил. И она ни слова не сказала, ни слова.

Он снова повернулся к Эдне:

– Ты, конечно, веришь мне?

Она сказала:

– Ты никогда не говорил мне, что хочешь заниматься живописью. Ты ни разу не упомянул живопись или художников за всю нашу совместную жизнь.

Эту заледеневшую голубизну ее глаз ему не вынести.

Он сказал инспектору:

– Не можем ли мы сейчас же отправиться на Боултинг-стрит? Наверно, этой бедняжке очень плохо, ей надо показаться врачу, кто-то должен позаботиться о ней. Не можем ли мы все сейчас же отправиться туда, и моя жена тоже, чтобы мадам Кауфман все объяснила?

И слава богу, он добился своего. Было решено, что они поедут на Боултинг-стрит. Вызвали полицейскую машину, и в нее влезли он, Эдна и двое полицейских, а Альхузоны ехали за ними в своем автомобиле. Он слышал, как они говорили инспектору что-то о том, что не хотят оставлять миссис Фентон одну после такого удара. Конечно, это любезно с их стороны, но о каком ударе может идти речь, если он тихо и спокойно объяснит ей всю эту историю, как только они попадут домой. Сама обстановка полицейского участка способствует тому, что все выглядит так ужасно, а он чувствует себя преступником.

Машина остановилась перед знакомым домом, и все вышли. Он повел их через ворота и затем вокруг, к черному ходу, и отворил его. Войдя в коридор, они сразу же почувствовали запах газа, который ни с чем не спутаешь.

– Снова утечка, – сказал он. – Время от времени это бывает. Она вызывает, но никогда не приходят.

Никто не ответил. Он быстро прошел на кухню. Дверь закрыта, и запах газа еще сильнее.

Инспектор что-то прошептал своим подчиненным.

– Миссис Фентон было бы лучше побыть в машине со своими друзьями.

– Нет, – сказал Фентон, – я хочу, чтобы моя жена услышала правду.

Но Эдна пошла по коридору назад с одним из полицейских, а Альхузоны ждали ее с торжественными лицами. Потом все вдруг оказались в спальне – спальне мадам Кауфман. Они отдернули штору и впустили воздух, но запах газа был неистребим, и они склонились над постелью, а она лежала спящая, и Джонни возле нее, оба в глубоком сне. Конверт с двадцатью фунтами лежал на полу.

– Не могли бы вы разбудить ее? – спросил Фентон. – Не могли бы вы разбудить ее и сказать ей, что мистер Симс здесь? Мистер Симс.

Один из полицейских взял его за руку и вывел из комнаты.

Когда Фентону сказали, что мадам Кауфман и Джонни мертвы, он покачал головой и сказал:

– Это ужасно... ужасно... если бы только она сказала мне, если бы только я знал, что делать...

Но, видимо, шок от появления полиции в доме и от известия об ужасном содержимом свертка был настолько силен,

что это новое несчастье не так сильно подействовало на него. Почему-то оно казалось неизбежным.

– Возможно, оно и к лучшему, – сказал он. – Она была так одинока. Только она и сын. Одни во всем мире.

Он не понимал, чего все ждут. Санитарную машину или что-то в этом роде, чтобы увезти бедную мадам Кауфман и Джонни. Он спросил:

– Можем мы пойти домой, моя жена и я?

Инспектор обменялся взглядом с полицейским в штатском и затем сказал:

– Боюсь, что нет, мистер Фентон. Вам придется вернуться с нами в участок.

– Но я же сказал вам правду, – устало возразил Фентон. – Мне нечего добавить. Я не имею никакого отношения к этой трагедии. Абсолютно никакого.

Тут он вспомнил про свои картины.

– Вы не видели мои работы, – сказал он. – Все они здесь, в соседней комнате. Пожалуйста, попросите мою жену вернуться, и моих друзей тоже. Я хочу, чтобы они посмотрели мои работы. И потом, после того, что случилось, я бы хотел увезти свои вещи.

– Мы позаботимся об этом, – ответил инспектор. Тон был уклончивый, но твердый. Нелюбезный, подумал Фентон. Незаконное вмешательство закона.

– Все это хорошо, но ведь это мое имущество, притом ценное. Разве вы имеете право трогать его?

Он перевел взгляд с инспектора на его коллегу в штатском (врач и второй полицейский все еще находились в спальне), и по их застывшим лицам он понял, что их вовсе не интересуют его работы. Они думают, что это просто оправдание, алиби, и единственное, чего они хотят, – забрать его обратно в полицейский участок и допрашивать снова и снова о смерти несчастной, жалкой женщины и ребенка, лежащих в спальне, и о тельце маленького недоношенного младенца.

– Я готов хоть сейчас поехать с вами, инспектор, – сказал он спокойно, – но у меня есть одна просьба – чтобы вы позволили мне показать свои работы моей жене и друзьям.

Инспектор кивнул своему подчиненному, который вышел из кухни, и маленькая группа двинулась к мастерской. Фентон сам открыл дверь и впустил их.

– Конечно, – сказал он, – я работаю в скверных условиях. Как видите, никаких удобств. Не знаю, как я мог с этим мириться. Вообще-то, я собирался выехать отсюда, как только вернусь из отпуска. Я сказал об этом бедной девочке, и, возможно, это расстроило ее.

Он включил свет, и в то время, как они стояли, озираясь, его вдруг осенило при виде разобранного мольберта и холстов, аккуратно составленных у стены, что, конечно, эти приготовления к отъезду должны показаться им странными и подозрительными: может сложиться впечатление, что он и в самом деле знал, что произошло в спальне за кухней, и собирался бежать.

– Естественно, это был всего лишь временный выход из положения, эта комната мне случайно подошла, – сказал он, продолжая извиняться за маленькую комнату, которая так не похожа на мастерскую. – В доме никого больше не было, никто не задавал вопросы. Я никогда никого не видел, кроме мадам Кауфман и мальчика.

Он заметил, что Эдна вошла в комнату, и Альхузоны тоже, и второй полицейский, и все они смотрят на него, а лица у них застывшие. Что это с Эдной? Что с Альхузонами? Конечно, на них произвели впечатление холсты, составленные у стены. Наверно, до них дошло, что все сделанное им за последние пять с половиной месяцев собрано здесь, в этой комнате, и готово к выставке? Он сделал большой шаг, схватил первый попавшийся холст и поднял его перед ними, чтобы показать. Это был портрет мадам Кауфман, который нравился ему больше всего – тот самый, про который она говорила – бедняжка, – что она там похожа на рыбу.

– Они нетрадиционны, я знаю, – сказал он, – не похожи на картинки из детской книжки. Но в них есть сила. Есть оригинальность.

Он схватил другой холст. Снова мадам Кауфман, на этот раз с Джонни на коленях.

– Мать и дитя, – сказал он с полуулыбкой, – настоящий примитивизм. Назад, к самому началу. Первая женщина, первый ребенок.

Он впервые попытался взглянуть на полотно их глазами.

Посмотрев на Эдну в ожидании ее одобрения, ее изумления, он встретил все тот же застывший, ледяной взгляд непонимания. Потом лицо ее сморщилось, она повернулась к Альхузонам и сказала:

– Это не картины. Это мазня, грубая мазня.

Ослепленная слезами, она взглянула на инспектора.

– Я же вам говорила, что он не умеет рисовать, – сказала она. – Это был просто предлог, чтобы бывать в доме у этой женщины.

Фентон смотрел, как Альхузоны уводят ее. Он услышал, как они вышли с черного хода и, пройдя через сад, обогнули дом. «Это не картины, это мазня», – повторил он. Он поставил холст на пол лицом к стене и сказал инспектору:

– Теперь я готов ехать с вами.

Они сели в полицейскую машину... Фентон сидел между инспектором и полицейским в штатском. Машина свернула с Боултинг-стрит. Она пересекла две улицы, выехала на Оукли-стрит и направилась к набережной Виктории. Светофор сменил желтый свет на красный. Фентон шептал про себя:

– Она не верит в меня – она никогда не поверит в меня.

И когда свет сменился и машина понеслась вперед, он закричал:

– Хорошо, я сознаюсь во всем. Конечно, я был ее любовником и ребенок мой. Я включил газ сегодня вечером, перед тем как уйти из дому. Я убил их всех. Я собирался убить и свою жену, когда мы приедем в Шотландию. Я хочу сознаться-

ся, что это сделал я... я... я...

Синие линзы

Перевод Г. Островской

Наконец настал день, когда ей снимут повязку и поставят синие линзы. Мада Уэст подняла руку к глазам и коснулась тонкой шероховатой ткани, под которой слой за слоем лежала вата. Ее терпенье будет вознаграждено. Дни переходили в недели, и она все лежала после операции, не испытывая физических страданий, но томясь от погружающей все в неизвестность тьмы и безнадежного чувства, что действительность, сама жизнь проходит мимо нее. Первые дни ее терзала боль, но милосердные лекарства вскоре смягчили ее, острота притупилась, боль исчезла, осталась лишь огромная усталость – реакция после шока, как ее заверяли. Что до самой операции, она прошла успешно. На все сто процентов. Перспектива была явно обнадеживающая.

– Вы будете видеть, – сказал ей хирург, – еще лучше, чем прежде.

– Откуда вы это знаете? – настаивала Мада Уэст, стремясь укрепить тонкую ниточку веры.

– Мы обследовали ваши глаза, когда вы были под наркозом, – ответил он, – и вторично, когда вам ввели обезболивающее средство. Мы не станем вас обманывать, миссис Уэст.

Она выслушивала эти заверения два-три раза на день, но время шло, и ей пришлось запастись терпением: теперь она

упоминала о глазах, пожалуй, не чаще чем раз в сутки, и то не прямо, а стараясь застать «их» врасплох. «Не выбрасывайте розы. Мне хочется на них посмотреть», – просила она, и дневная сиделка проговаривалась, пойманная в ловушку: «Они завянут до того времени». Это означало, что до следующей недели повязка снята не будет.

Определенные даты не упоминались никогда. Никто не говорил: «Четырнадцатого числа этого месяца к вам вернется зрение». И она продолжала свои уловки, делала вид, что ей все равно и она согласна ждать. Даже Джим, ее муж, попалал теперь в разряд «они» вместе с персоналом лечебницы; она больше ничего не рассказывала ему.

Раньше, давным-давно, она поверяла ему все свои страхи и опасения, и он разделял их с ней. До операции. Тогда, страшась боли и слепоты, она цеплялась за него и говорила, мысленно представляя себя беспомощной калеккой: «Что если я навсегда потеряю зрение? Что тогда со мной будет?» И Джим, тревога которого была не менее жгучей, отвечал: «Что бы ни случилось, мы пройдем через это вместе».

Теперь, сама не зная почему, разве из-за того, что темнота утончила ее чувства, Мада стеснялась обсуждать с мужем свои глаза. Прикосновение его руки было таким же, как прежде, и поцелуй, и сердечный голос, и, однако, все эти дни ожидания в ней набухало зернышко страха, что он, как и персонал лечебницы, был к ней слишком добр. Доброта тех, кому что-то известно, по отношению к тем, от кого это скрыва-

ют. Поэтому, когда наконец настал долгожданный день и во время вечернего визита хирург сказал: «Завтра я поставлю вам линзы», изумление пересилило радость. Мада Уэст не могла промолвить ни слова, и врач вышел, прежде чем она успела его поблагодарить. Неужели это правда и ее агония окончилась? Мада позволила себе один-единственный, последний пробный шар, когда дневная сиделка уходила с дежурства. «К ним надо будет привыкнуть, да? И сперва будет немного больно?» – утверждение в форме беспечного вопроса. Но голос женщины, ухаживавшей за ней в течение стольких тягостных дней, ответил: «Вы даже не почувствуете их, миссис Уэст».

Ее спокойный, приветливый голос, то, как она перекладывала подушки и подносила стакан к вашим губам, легкий запах французского папоротникового мыла, которое она всегда употребляла, – все это внушало доверие, говорило о том, что она не лжет.

– Завтра я вас увижу своими глазами, – сказала Мада Уэст, и сиделка, залившись веселым смехом, который порой доносился из коридора, ответила:

– Да, это будет для вас первым ударом.

Странно, как притупились воспоминания о ее приезде в лечебницу. Врачи и сестры, принимавшие ее, превратились в тени, отведенная ей палата, где она все еще находилась, – просто деревянный ящик, западня. Даже сам врач, умелый и энергичный хирург, рекомендовавший ей во время двух

кратких консультаций немедленно лечь на операцию, был теперь для нее только голосом, а не реальным лицом. Он появлялся, отдавал приказания, приказания исполнялись, и было трудно представить, что эта перелетная птица – тот самый человек, который несколько недель назад попросил отдать себя в его руки, который сотворил чудо с живой тканью, бывшей ее собственными глазами.

– Представляю, как вы волнуетесь.

Это был низкий, мягкий голос ночной сиделки, которая лучше всех остальных понимала, что ей, Маде, пришлось перенести. В сестре Брэнд – дневной сиделке – все дышало бодростью дня, с ней появлялось солнце, свежие цветы, посетители. Когда она описывала, какая сегодня погода, она словно творила ее. «Ну и пекло», – говорила сестра Брэнд, распахивая окна, и ее подопечная прямо чувствовала, как от ее формы и накрахмаленной шапочки исходит свежесть, каким-то необъяснимым образом смягчая хлынувшую в комнату жару. А не то, ощущая легкий холодок, она слышала под ровный шум дождя: «Садовники-то будут рады-радешеньки, а вот старшая сестра останется без речной прогулки».

Так же и блюда, даже самые невкусные больничные обеды, казались деликатесами, когда она предлагала их. «Кусочек камбалы au beurre»², – весело потчевала она, разжигая притупившийся аппетит, и приходилось съесть поданную вареную рыбу, начисто лишённую вкуса, ведь иначе вы вроде

² С маслом (фр.).

бы подводили сестру Брэнд, рекомендовавшую ее. «Пончики с яблоками... с двумя-то уж вы, конечно, справитесь», – и во рту появлялся вкус воображаемого пончика, хрустящего, посыпанного сахарной пудрой, когда в действительности он напоминал кусок размокшей подошвы. Бодрость и оптимизм сестры Брэнд не давали вам проявлять недовольство, жаловаться было бы оскорблением, сказать: «Дайте мне полежать спокойно. Я ничего не хочу» – значило проявить слабодушие.

Ночь приносила утешение – появлялась сестра Энсел. Она не ждала от вас мужества. Вначале, во время болей, она, и никто другой, давала болеутоляющие лекарства. Она, и никто другой, взбивала подушки и подносила стакан к запекшимся губам. А когда потянулись недели ожидания, ее мягкий, спокойный голос говорил подбадривающе: «Скоро это кончится. Нет ничего хуже, чем ждать». Ночью стоило только прикоснуться к звонку, и сестра Энсел была у постели. «Не можете уснуть? Да, это ужасно. Я сейчас дам вам порошок, вы и не заметите, как пройдет ночь».

Сколько сочувствия в плавном, нежном голосе. Измученное вынужденным ожиданием и бездельем воображение, населяющее тьму причудливыми картинками, рисовало для отдыха реальные сценки: они с сестрой Энсел вне стен лечебницы, к примеру, втроем, с Джимом, за границей... Джим играет в гольф с каким-нибудь безликим знакомым, предоставив ей, Маде, бродить вокруг с сестрой Энсел. Сестра Эн-

сел все делала безукоризненно. Никогда не раздражала. Интимность их ночного общения, все эти разделенные лишь ими двумя мелочи связывали пациентку и сиделку узами, которые расторгались только на день, и, когда сестра Энсел без пяти восемь утра уходила с дежурства, она шептала: «До вечера» – и сам этот шепот заставлял Маду предвкушать нечто приятное, словно восемь часов вечера не просто время прихода на работу ночной смены, словно они улаиваются о тайном свидании.

Сестра Энсел понимала вас. Когда вы жаловались утомленно: «День тянулся до бесконечности», ее «О да» в ответ говорило о том, что и для нее день шел мучительно долго, что она безуспешно пыталась заснуть и лишь теперь надеется вернуться к жизни.

А с какой симпатией, каким интригующим тоном она сообщала о приходе вечернего посетителя: «А кто к нам пришел? Кого мы так хотели видеть? И раньше, чем обычно», – и голос ее наводил на мысль, что Джим – не муж, с которым Мада прожила десять лет, а трубадур, возлюбленный, кто-то, кто нарвал букет принесенных им цветов в очарованном саду и сейчас стоит с ним у нее под балконом. «Какие великолепные лилии!» – восклицала сестра Энсел, вздыхая, точно у нее перехватывало дыхание, и Мада Уэст будто воочию видела экзотических красавиц, тянущихся к небесам, и перед ними – коленопреклоненную сестру, крошку-жрицу. Затем еле слышно звучало застенчивое: «Добрый вечер, ми-

стер Уэст. Миссис Уэст ждет вас». Неслышно прикрыв за собой дверь, она выходила на цыпочках с цветами и почти беззвучно возвращалась: комната наполнялась ароматом лилий.

Должно быть, на второй месяц пребывания в лечебнице Мада предложила, вернее, спросила – сначала сестру Энсел, а затем мужа, – не поедет ли сестра к ним на неделю, после того как Маду выпишут. Это как раз совпадает с ее отпуском. Только на неделю. Только пока Мада не привыкнет снова к дому. «А вы хотите, чтобы я поехала?» В сдержанном голосе звучало обещание. «О да. Мне сперва будет трудно». Не зная, что она понимает под «трудно», Мада Уэст, несмотря на будущие линзы, все еще ощущала себя беспомощной, нуждающейся в ободрении и опеке, которые до сих пор она находила только у сестры Энсел. «Как ты думаешь, Джим?»

В его голосе удивление боролось с нежностью. Удивление, что жена так высоко ставит сиделку, нежность – естественная для мужа, потворствующего капризу больной жены. Во всяком случае, так показалось Маде Уэст, и позже, когда вечерний визит закончился и муж ушел домой, она сказала сестре Энсел: «Никак не могу понять, пришлось ли мое предложение по вкусу мужу». Ответ прозвучал спокойно, ободрительно: «Не тревожьтесь, мистер Уэст примирился с этим».

Примирился с чем? С изменением привычного образа жизни? Трое вместо двоих за столом, обязательная беседа, непривычный статус гостыи, которой платят за преданность

хозяйке? (Хотя на это не будет ни намек, и лишь в конце недели, словно между прочим, ей будет вручен конверт с деньгами.)

– Представляю, как вы волнуетесь. – Сестра Энсел у изголовья, легкая рука на повязке; тепло ее голоса, уверенность, что еще несколько часов – и она, Мада, будет свободна, наконец заглушили многодневные сомнения. Успех. Операция прошла успешно. Завтра она снова будет видеть.

– Кажется, – сказала Мада Уэст, – будто ты рождаешься заново. Я уже забыла, как выглядит все вокруг.

– Замечательно, – прожурчала сестра Энсел, – и вы были так терпеливы, так долго ждали.

В ласковой ладони сочувствие и осуждение всех тех, кто в течение долгих недель настаивал на повязке. Будь это в ее власти, будь в ее руке волшебная палочка, к миссис Уэст отнеслись бы куда более снисходительно.

– Как странно, – сказала Мада Уэст, – завтра вы уже не будете для меня только голосом. Вы облечетесь в плоть.

– А сейчас разве я бесплотна?

Притворный упрек, легкое поддразнивание – привычные для их разговоров и столь утешительные для пациентки. Когда зрение вернется к ней, от этого придется отказаться.

– Нет, разумеется, но все будет по-другому.

– Не понимаю почему.

Даже зная, что сестра Энсел маленькая и темная – так она сама описала себя, – Мада Уэст готовилась к сюрпризу при

первой встрече – наклон головы, разрез глаз или, возможно, какая-нибудь неожиданная черта лица, слишком большой рот, слишком много зубов...

– Посмотрите, пожалуйста... – Не в первый раз сестра Энсел взяла руку своей подопечной и провела ладонью по своему лицу; Мада Уэст пришла в смущение: это напоминало полон, где ее рука была пленницей. Выдернув ее, Мада сказала со смехом:

– Мне это ничего не говорит.

– Тогда спите. Вы и не заметите, как наступит утро.

Последовал обычный ритуал: подвинут поближе звонок, проглочено снотворное, выпит последний глоток воды и, наконец, негромкое:

– Спокойной ночи, миссис Уэст. Позвоните, если я вам буду нужна.

Маду всегда охватывало легкое чувство потери, сиротливости, когда дверь закрывалась и сестра покидала ее, и вдобавок ревности, потому что были и другие пациенты, которым она оказывала те же милости, кто так же мог позвонить ночной сиделке, если его мучила боль. Когда Мада Уэст просыпалась – что часто бывало с ней перед рассветом, – она рисовала теперь в воображении не Джима, одного дома, в их спальне, а сестру Энсел, сидящую, возможно, у чьей-нибудь постели, склонившуюся над изголовьем, чтобы облегчить чьи-нибудь страдания, и одно это заставляло Маду тянуть руку к звонку, нажимать пальцем на кнопку и спраши-

вать, когда отворялась дверь:

– Я вас не разбудила?

– Я никогда не сплю на дежурстве.

Значит, она сидела в уютной нише для дежурных сестер посреди коридора, пила чай или переносила в журнал записи из медицинских карт. Или стояла возле пациента, как стоит сейчас возле нее, Мады.

– Не могу найти платка.

– Вот он. Лежал у вас под подушкой.

Прикосновение к плечу (само по себе услада), еще несколько слов, чтобы продлить ее пребывание, и сестра исчезала – отвечать на другие звонки и другие просьбы.

– Ну, на погоду сегодня жаловаться нельзя!

Наступил день, и сестра Брэнд влетела в палату, как первый утренний ветерок, когда стрелка барометра указывает на «ясно».

– Все готово для великого события? – спросила она. – Нам надо поторопиться и надеть самую красивую ночную сорочку, чтобы встретить мистера Уэста.

...Та же операция в обратном порядке. Однако на этот раз – в ее палате, на ее собственной постели. Лишь проворные руки хирурга и сестры Брэнд ему в помощь. Сперва исчезла повязка из крепа, затем корпия и вата; чуть ощутимый укол иглы, чтобы притупились все ощущения, и врач делает что-то, что – невозможно понять, с ее глазами. Боли не было.

Прикосновение казалось холодным, словно туда, где только что лежала повязка, скользнул кусочек льда, но это не раздражало, напротив.

– Не удивляйтесь, – сказал хирург, – если в первые полчаса не почувствуете разницы. Все будет казаться покрытым дымкой. Затем она постепенно рассеется. Я хотел бы, чтобы это время вы спокойно полежали.

– Понимаю. Я не буду двигаться.

Желанный миг не должен быть слишком внезапным. Это разумно. Темные линзы были временными, лишь на первые дни. Затем их снимут и заменят другими.

– Насколько ясно я буду видеть? – наконец-то осмелилась она спросить.

– Абсолютно ясно. Но не сразу в цвете. Вроде как через темные очки в солнечный день. Даже приятно.

Его веселый смех внушал доверие, и, когда они с сестрой Брэнд вышли, Мада Уэст снова легла, дожидаясь, когда исчезнет мгла и солнечный день ворвется к ней в глаза, как бы ни было притуплено ее зрение, как бы ни было замутнено линзами.

Мало-помалу туман рассеялся. Первый предмет, который она увидела, был весь из углов – шкаф. Затем стул. Затем – она повернула голову – постепенно выступили очертания окна, вазы на подоконнике, цветов, которые ей принес Джим. Доносившиеся снаружи звуки слились с очертаниями, и то, что раньше резало слух, звучало теперь благозвучно. Она по-

думала: «Интересно, а плакать я могу? Линзы не задержат слез?» – но тут же почувствовала, что вместе с драгоценным даром – зрением – к ней вернулись и слезы. И чего тут стыдиться, какие-то одна-две слезинки, которые она тут же смахнула.

Теперь все было в фокусе. Цветы, умывальник, стакан с термометром, халатик. Мада не верила сама себе. Облегчение было столь велико, что она ни о чем другом не могла думать. «Они мне не лгали. Так все и произошло. Это правда».

Она видела фактуру одеяла, которое так часто гладила рукой. Цвет не имел значения. Приглушенный линзами свет лишь усиливал чары, смягчая все, на что падал ее взгляд. Наслаждаясь формами и очертаниями, она позабыла о цвете. Какое он имеет значение? Когда-нибудь дойдет и до него. Времени у нее достаточно. Что может быть важнее синей симметрии, подвластной ее зрению? Видеть, ощущать, слить то и другое воедино! Она действительно родилась заново, открыла давно потерянный мир.

Теперь ей некуда спешить. Разглядывать свою палату, задерживаясь на каждой мелочи, само по себе было богатством, наслаждением, это можно смаковать. Просто смотреть на комнату, ощущать ее глазами, переходить взором за ее пределы – к чужим окнам в домах напротив – это заполнит многие часы.

«Даже узнику в одиночной камере, – решила Мада, – покажется уютно, если он сперва лишится зрения, а потом ему

его возвратят».

Она услышала снаружи голос сестры Брэнд и повернула голову к двери.

– Ну... наконец-то мы снова счастливы?

Мада Уэст с улыбкой смотрела, как одетая в форму фигура входит в комнату с подносом в руках, на котором стоит стакан молока. Но что это? Что за нелепость? Вопреки здравому смыслу голова под форменной шапочкой вовсе не была женской головой. На Маду надвигалась... корова, корова с человеческим телом. Шапочка с рюшем лихо сидела на широко расставленных рогах. Глаза были большие и добрые, но все равно коровьи, ноздри влажные, и стояла она, мерно дыша, так, как стоит корова на пастбище, безмятежная, довольная жизнью, неподвижная, принимая все таким, как оно есть.

– Все кажется немного непривычным, да?

Ее смех был смехом женщины, смехом дневной сиделки, смехом сестры Брэнд. Она поставила поднос на тумбочку возле кровати. Пациентка не ответила. Она закрыла глаза, затем снова открыла их. Корова в платье сестры милосердия все еще была в комнате.

– Признайтесь, – сказала сестра, – вы бы и не догадались, что вы в линзах, если бы не цвет.

Важно было выиграть время. Пациентка осторожно протянула руку к стакану. Стала медленно пить молоко. Маска была напялена с какой-то целью. Возможно, какой-нибудь

опыт, связанный с линзами... хотя в чем он состоит, она не могла и представить. Они, бесспорно, рисковали, обрушивая на нее такой сюрприз, а по отношению к более слабым людям, перенесшим такую же операцию, как она, это было бы просто жестоко.

– Я прекрасно вижу, – сказала она наконец, – во всяком случае, мне так кажется.

Сестра Брэнд стояла, сложив руки на груди, и наблюдала за ней. Широкая фигура в форме была точь-в-точь такая, какой Мада Уэст представляла ее себе. Но эта задранный коровья голова, нелепый рюш на шапочке, нацепленной на рога... А где же граница между маской и телом, если это действительно маска?

– У вас какой-то неуверенный голос, – сказала сестра Брэнд. – Неужели вы разочарованы после всего того, что мы для вас сделали?

Смех звучал, как всегда, весело, но губы медленно двигались из стороны в сторону, словно она жевала траву.

– В себе-то я уверена, – ответила Мада Уэст, – а вот в вас – нет. Это что – шутка?

– Что – шутка?

– Ну... то, как вы выглядите... ваше... лицо?

Синие линзы не настолько затемняли свет, чтобы она не смогла заметить, как изменилось выражение сиделки. У коровы явственно отвисла челюсть.

– Право, миссис Уэст! – На этот раз смех звучал не так

сердечно. Удивление ее было бесспорным. – Я такая, какой меня сотворил Господь. Возможно, он мог бы сделать свою работу лучше.

Сиделка-корова подошла к окну и резким движением во всю ширь раздернула занавеси – комнату залил яркий свет. У маски не видно было краев, голова незаметно переходила в тело. Мада Уэст представила, как корова, если на нее напасть, опускает голову и выставляет рога.

– Я не хотела вас обидеть, – сказала она, – но, право, немного странно... Понимаете...

Она была избавлена от объяснения, так как дверь отворилась и в комнату вошел хирург. Во всяком случае, Мада узнала его голос, когда он сказал: «Хелло! Как дела?» Фигура в темном пиджаке и широких, суженных книзу брюках вполне подходила известному хирургу, но голова... Это была голова фокстерьера, уши торчком, пыливый, острый взгляд. Еще минута, и он залает и завиляет коротким хвостом.

На этот раз пациентка рассмеялась. Очень уж комичным был эффект. Должно быть, это все-таки шутка. Конечно шутка. Что же еще, но зачем входить в такие расходы и причинять себе столько хлопот? Чего в конечном счете они достигают этим маскарадом? Она резко оборвала смех, увидев, как фокстерьер обернулся к корове и они без слов переговариваются между собой. Затем корова пожалала своими слишком уж могучими плечами.

– Мы почему-то кажемся миссис Уэст смешными, – ска-

зала она, и голос ее звучал не слишком довольно.

– Ну и прекрасно, – сказал хирург. – Разве было бы лучше, если бы мы казались ей противными?

Он подошел, протянул руку пациентке и наклонился поближе, чтобы поглядеть на ее глаза. Мада Уэст лежала неподвижно. Его голова тоже не была маской. Во всяком случае, Мада не могла различить ее границ. Уши стояли торчком, острый нос подрагивал. У него даже была отметина – одно ухо черное, другое белое. Мада представила его перед входом в лисью нору: вот он принюхивается, вот, поймав след, продирается вглубь лаза, поглощенный работой, на которую был натаскан.

– Вам бы подошло имя Джек Рассел³, – сказала она.

– Простите?

Он выпрямился, но все еще стоял у кровати, – в блестящих глазах пронизательность, одно ухо настороженно торчит вверх.

– Я хочу сказать, – Мада Уэст подыскивала слова, – что это имя подходит вам больше, чем ваше собственное.

Она была смущена. Что он подумает о ней, он, мистер Эдмунд Гривз, за именем которого на дверной дощечке на Харли-стрит⁴ стоит целая куча букв – его званий.

³ *Джек-рассел-терьер* – порода собак, выведенная на основе фокстерьера в середине XIX в.; названа по имени английского священника, охотника и заводчика собак Джона (Джека) Рассела. – *Примеч. ред.*

⁴ Улица в Лондоне, на которой расположены многочисленные частные клиники.

– Я знаю одного Джемса Рассела, – сказал он, – но он хирург-ортопед и ломает людям кости. Вам кажется, что я вам тоже что-то сломал?

Голос его звучал оживленно, но в нем проскальзывало удивление, как и у сестры Брэнд. Благодарности, которую они заслужили за свое мастерство, что-то не было видно.

– О, что вы, что вы, – поспешно произнесла пациентка, – ничего у меня не сломано, право, ничего. И ничего не болит. Я все ясно вижу. Слишком ясно, если уж на то пошло.

– Так и должно быть, – сказал хирург и засмеялся – точь-в-точь короткий, резкий лай. – Ну, сестра, – продолжал он, – пациентка может делать все что угодно, в пределах разумного конечно, только не снимать линзы. Вы предупредили ее?

– Как раз собиралась, сэр, когда вы вошли.

Мистер Гривз обернул черный собачий нос к Маде Уэст.

– Я зайду в среду, – сказал он, – и переменею линзы. Пока вам нужно одно – промывать глаза специальным раствором три раза в день. Это обязанность сестер. Сами вы глаза не трогайте. И главное, не прикасайтесь к линзам. Однажды пациент хотел их снять и поплатился зрением. Он никогда его не восстановил.

«Попробуй только коснись, – казалось, лаял фокстерьер, – получишь по заслугам. Даже и не пытайся. У меня острые зубы».

– Я понимаю, – медленно произнесла Мада Уэст. Но она упустила свой шанс. Теперь она не могла потребовать у него

объяснений. Инстинкт подсказывал ей, что врач ее не поймет. Фокстерьер говорил что-то корове, отдавал распоряжения. Резкая, отрывистая фраза и кивок глупой морды в ответ. Верно, в жаркий день мухи сильно ей докучают... или шапочка с рюшем отпугивает их?

Когда они двинулись к двери, пациентка сделала последнюю попытку.

– А постоянные линзы, – спросила она, – будут такие же, как эти?

– В точности такие, – гавкнул хирург, – но только прозрачные. Вы увидите все в естественном цвете. Значит, до среды.

Он вышел. Сестра – следом за ним. Мада слышала бормотанье голосов за дверью. А теперь что? Если это действительно какой-то опыт, снимут ли они сразу свои личины? Было чрезвычайно важно выяснить это. С ней сыграли не совсем честную шутку, это было злоупотребление доверием. Она слышала, как врач сказал: «Полторы таблетки. Она немного возбуждена. Вполне естественная реакция».

Мада Уэст храбро распахнула дверь. Они стояли в коридоре... все еще в масках. Оба обернулись к ней; в острых блестящих глазах фокстерьера и глубоких глазах коровы был упрек, словно своим поступком пациентка нарушила принятый этикет.

– Вам что-нибудь нужно, миссис Уэст? – спросила сестра Брэнд.

Мада Уэст смотрела мимо них в коридор. Весь этаж участ-

вовал в обмане. У маленькой горничной, которая вышла из соседней палаты со шваброй и совком для мусора, была головка ласки, а сиделка, танцующей походкой идущая с другого конца коридора, была кошечка с кокетливой шапочкой на кудрявой голове. Рядом с ней гордо вышагивал врач-лев. Даже у швейцара, в это самое время поднявшегося в лифте напротив, была на плечах голова кабана. Вынимая багаж, он хрипло похрюкивал.

Впервые Маду Уэст уколол страх. Откуда они могли знать, что она именно сейчас откроет дверь? Как они сумели все появиться в ту самую минуту, каждый – в маске, все эти сестры, и врачи, и горничная, которая как раз вышла из соседней двери, и швейцар, который как раз поднялся на лифте? Должно быть, страх отразился у нее на лице, потому что сестра Брэнд, корова, взяла ее за руку и отвела обратно в палату.

– Вы хорошо себя чувствуете, миссис Уэст? – встревоженно спросила она.

Мада Уэст медленно легла в постель. Если это был заговор, то для чего? Другие пациенты тоже были жертвами обмана?

– Я сильно устала, – сказала она. – Я бы хотела уснуть.

– Вот и отлично, – сказала сестра Брэнд, – а то вы чуть-чуть перевозбуждены.

Она смешивала что-то в стакане, и на этот раз, когда Мада Уэст взяла стакан в руку, пальцы ее дрожали. Может ли ко-

рова разглядеть как следует, что она смешивает, какие добавки? А если она ошибется?

– Что вы мне даете? – спросила она.

– Успокоительное, – ответила корова.

Лютики и ромашки. Пышная зеленая трава. Воображению ничего не стоило почувствовать в питье все три ингредиента. Пациентку передернула дрожь. Она опустилась на подушку, и сестра Брэнд задернула занавеси.

– Расслабьтесь, – сказала она, – и, когда проснетесь, будете чувствовать себя гораздо лучше. – Тяжелая голова потянулась вперед... сейчас она раскроет рот и замычит.

Успокоительное подействовало быстро. Сонное оцепенение охватило тело пациентки.

Вскоре она погрузилась в мирный мрак, но, когда проснулась, ее ждал не нормальный порядок вещей, как она надеялась, а обед, принесенный кошечкой. Сестра Брэнд сменилась с дежурства.

– Сколько это будет продолжаться? – спросила Мада Уэст. Она уже примирилась с розыгрышем. Глубокий сон восстановил ее силы и отчасти веру в себя. Если это нужно для ее глаз – им видней. Хотя причина их поступка для нее непостижима.

– Что вы хотите сказать, миссис Уэст? – спросила кошечка улыбаясь. Пустенькая девчонка с поджатыми губками; не успела она кончить фразы, как уже поправляла шапочку.

– Этот опыт с моими глазами, – сказала пациентка, снимая

крышку с тарелки, где лежал кусок вареной курицы. – Не вижу, в чем тут смысл. Строите из себя каких-то чучел. Для чего?

Кошечка серьезно, если кошечка может быть серьезной, продолжала смотреть на нее во все глаза.

– Простите, миссис Уэст, – сказала она, – я вас не понимаю. Вы сказали сестре Брэнд, что еще не совсем хорошо видите?

– Дело не в том, что я не вижу, – ответила Мада Уэст. – Вижу я прекрасно. Стул есть стул. Стол – стол. Я буду есть вареную курицу. Но почему вы похожи на кошку, причем полосатую?

Возможно, это звучало невежливо. У нее чуть не дрогнул голос. Сестра – Мада вспомнила ее, это была сестра Суитинг, и ее имя Китти очень ей подходило – отшатнулась от сервировочного столика.

– Очень жаль, – сказала она, – что не могу вас оцарапать. Меня еще никто не называл кошкой.

Царапина была достаточно глубокой. Кошечка уже выпустила коготки. Она могла мурлыкать что-то льву в коридоре, но с Мадой Уэст она мурлыкать не желала.

– Я ничего не придумываю, – сказала пациентка. – Я вижу то, что вижу. Вы – кошка, нравится вам это или нет, а сестра Брэнд – корова.

На этот раз оскорбление было сознательным. Великолепные усы сестры Суитинг стали торчком.

– Будьте любезны, миссис Уэст, ешьте свое второе и позвоните мне, когда будете готовы есть третье.

И она гордо удалилась из комнаты. Если бы у нее был хвост, подумала Мада Уэст, он бы не вилял, как у мистера Гривза, а яростно бил по полу.

Нет, не было на них никаких масок. Удивление и гнев кошечки были достаточно искренни. И персонал лечебницы не стал бы разыгрывать такой спектакль ради одного пациента, Мады Уэст, – это обошлось бы слишком дорого. Значит, дело в линзах? Линзы по самой своей сущности, благодаря какому-то свойству, понять которое может только специалист, преобразуют всех, на кого в них смотришь.

У Мады вдруг мелькнула одна мысль, и, оттолкнув в сторону сервировочный столик, она слезла с кровати и подошла к трюмо. Из зеркала на нее смотрело собственное лицо. Темные линзы скрывали глаза, но лицо было ее, Мады Уэст.

– Слава богу, – сказала она, но мысли ее снова вернулись в прежнее русло. Значит, все же обман. Раз собственное ее лицо не изменилось, хоть и видит она его через линзы, значит здесь действительно заговор, и ее первая догадка насчет масок была правильной. Но почему? Что они этим выигрывают? Может быть, они сговорились между собой свести ее с ума? Но она тут же отказалась от этой мысли – слишком абсурдно. Лечебница и ее персонал пользовались в Лондоне доброй славой. Хирург оперировал даже членов королевской фамилии. К тому же, если уж они хотели довести ее до

безумия, это куда проще было сделать при помощи лекарств. Или анестезии. Дали бы ей во время операции слишком много обезболивающих средств и предоставили умереть. К чему вступать на окольный путь и наряжать врачей и сестер в маски животных?

Она делает еще одну проверку. Она посмотрит на прохожих. Мада Уэст спряталась за занавеси и выглянула в окно. Сперва на улице было пусто – во время ланча не бывает большого движения. На дальнем перекрестке мелькнуло такси, но она не смогла разглядеть водителя. Мада ждала. На ступени лечебницы вышел швейцар, постоял, глядя по сторонам. Ей ясно была видна его кабанья голова. Но он не в счет. Он может участвовать в заговоре. К дому приближался фургон, водитель был не виден... но вот он сбавил скорость и выглянул из кабины – перед ней мелькнула плоская лягушачья голова, выпученные глаза.

У Мады упало сердце. Она отошла от окна и снова легла в постель. Есть ей больше не хотелось, и она отодвинула тарелку, почти не прикоснувшись к курице. Она не стала звонить, и спустя какое-то время дверь приоткрылась, но то была не кошечка, а маленькая горничная с головой ласки.

– Вы что хотите на третье: сливовый пудинг или мороженое, мадам? – спросила она.

Мада Уэст, не раскрывая глаз, покачала головой. Робко скользнув вперед, чтобы забрать поднос, ласка сказала:

– Тогда сыр и кофе?

Ее голова соединялась с туловищем без всякого шва. Это не могло быть маской, разве что какой-то гениальный художник придумал маски, незаметно переходящие в тело, так что материя сливалась с кожей.

– Только кофе, – сказала Мада Уэст.

Ласка исчезла. Снова стук в дверь, на пороге возникла кошечка: спина дугой, шерсть дыбом. Она молча шмякнула на столик чашку с кофе, и Мада Уэст, возмущенная – ведь если кому и выказывать недовольство, так только ей, – резко сказала:

– Налить вам в блюдечко молока?

Кошечка обернулась.

– Шутка шуткой, миссис Уэст, – сказала она, – и я первая посмеюсь над тем, что смешно. Но я не выношу грубостей.

– Мяу, – сказала Мада Уэст.

Кошечка выскочила из комнаты. Никто не пришел забрать чашку, даже ласка. Пациентка впала в немилость. Ну и пусть. Если персонал лечебницы полагает, что может одержать над ней верх, они ошибаются. Мада снова подошла к окну. Швейцар-кабан помогал сесть в машину пожилой треске на костылях. Значит, все же не заговор. Они ведь не знают, что она на них смотрит. Мада подошла к телефону и попросила телефонистку соединить ее с конторой мужа. И тут же вспомнила, что он не мог еще вернуться после ланча. Однако назвала номер, и ей повезло – Джим оказался на месте.

– Джим... Джим, дорогой.

– Да?

Какое счастье услышать так хорошо знакомый, родной голос. У Мады сразу стало легче на душе. Она прилегла на кровать, прижимая трубку к уху.

– Милый, когда ты сможешь приехать?

– Боюсь, только вечером. Не день, а сплошной ад, одно за другим без передышки. Ну, как оно прошло? Все в порядке?

– Не совсем.

– Что ты имеешь в виду? Ты не видишь? Гривз ничего тебе не напортил?

Как она могла объяснить, что с ней случилось? По телефону это прозвучало бы так глупо.

– Нет, я вижу. Прекрасно вижу. Просто... просто все сестры похожи на животных. И Гривз тоже. Он фокстерьер. Один из этих маленьких джек-расселов, с которыми травят лис.

– О чем, ради всего святого, ты толкуешь?

В то же самое время он говорил что-то секретарше, что-то о деловой встрече, и по его тону Маде Уэст стало ясно, что он очень, очень занят и она выбрала самый неподходящий момент, чтобы ему позвонить.

– Что ты имеешь в виду, какой Джек Рассел? – повторил Джим.

Мада Уэст поняла, что все бесполезно. Надо ждать, пока он не приедет. Тогда она попытается все ему рассказать, и он сам разберется, что за этим стоит.

– Неважно, – сказала она. – Поговорим потом.

– Мне очень жаль, – сказал он, – но я правда страшно спешу. Если линзы тебе не помогают, скажи кому-нибудь. Сестрам, старшей сестре.

– Хорошо, – пообещала она, – хорошо.

И дала отбой. Положила трубку. Взяла журнал, верно оставленный в один из вечеров самим Джимом. С радостью увидела, что ей не больно читать. И что синие линзы ничего не меняют – мужчины и женщины на фотографиях были нормальными, такими, как всегда. Свадебные группы, приемы, дебютантки – все было привычным. Лишь здесь, в лечебнице, и на улице, снаружи, люди выглядели иначе. Было уже далеко за полдень, когда в палату зашла старшая сестра, чтобы побеседовать с ней. Мада узнала ее по форменному платью. Овечья голова старшей сестры уже не удивила ее – это было неизбежно.

– Надеюсь, вы всем у нас довольны, миссис Уэст?

Мягкий вопросительный голос. Намек на блеяние.

– Да, спасибо.

Мада Уэст была настороже. Сердить старшую сестру было неразумно. Даже если это действительно колоссальный разговор, лучше не восстанавливать ее против себя.

– Линзы сидят хорошо?

– Превосходно.

– Я очень рада. Операция была тяжелая, и вы так мужественно вели себя все это время, так терпеливо ждали.

Вот-вот, подумала пациентка. Умасливает меня. Тоже входит в игру, надо полагать.

– Еще несколько дней, сказал мистер Гривз, и вам заменят эти линзы на постоянные.

– Да, так он и мне сказал.

– Жалко, что не видишь всего в цвете, верно?

– Пока что я этому рада.

Ответ сорвался у нее с губ, прежде чем она успела сдержаться. Старшая сестра разгладила платье. Если бы ты только знала, как выглядишь сейчас с этой тесьмой под подбородком, ты бы меня поняла, подумала пациентка.

– Миссис Уэст... – Старшей сестре было явно не по себе, и она отвернула свою овечью голову от женщины в постели. – Миссис Уэст, я надеюсь, вы не обидитесь на мои слова... но... но сестры в нашей лечебнице превосходно справляются со своим делом, и мы гордимся ими. Они работают по многу часов, как вы знаете, и высмеивать их не очень деликатно с вашей стороны, хотя я уверена, вы просто хотели пошутить.

Бе-е... бе-е... Блей себе на здоровье. Мада Уэст сжала губы.

– Это вы насчет того, что я назвала сестру Суитинг кошечкой?

– Я не знаю, как вы назвали ее, миссис Уэст, но это очень ее расстроило. Она пришла ко мне чуть не плача.

Вернее, фыркая от злости. Фыркая и выпуская когти. Ее

умелые руки на самом деле кошачьи лапки.

– Это больше не повторится.

Мада твердо решила ничего больше не говорить. Она не была ни в чем виновата. Она не просила вставлять ей линзы, уродующие людей, ей ни к чему обман и притворство.

– Должно быть, очень трудно, – перевела она разговор, – содержать такую лечебницу.

– О да, – сказала старшая сестра. Сказала овца. – Нам удастся добиться успеха только благодаря великолепному персоналу и содействию пациентов.

Слова были сказаны с целью уколоть пациентку. Даже овца может лягнуть.

– Сестра, – сказала Мада Уэст, – давайте не будем препираться друг с другом. Какова цель этого всего?

– Цель чего, миссис Уэст?

– Этого маскарада. Этого шутовства.

Ну вот, все произнесено вслух. Чтобы подкрепить свои слова, она указала на голову старшей сестры:

– Почему вы выбрали именно эту внешность? Это даже не смешно.

Наступило молчание. Старшая сестра, хотевшая было сесть, чтобы продолжить беседу, переменила намерение и медленно направилась к дверям.

– Все мы, получившие квалификацию в больнице Святой Хильды, гордимся нашей эмблемой, – сказала она. – Надеюсь, когда вы покинете нас через несколько дней, миссис

Уэст, вы будете вспоминать о нас с большей снисходительностью, чем сейчас.

И она вышла из комнаты. Мада Уэст снова взяла в руки отброшенный журнал, но читать его было скучно. Она прикрыла глаза. Снова открыла. Закрыла опять. Если бы стул превратился в гриб, а стол – в стог сена, можно было бы винить линзы. Почему меняются только люди? Что с ними не в порядке? Она не открыла глаза и тогда, когда ей принесли чай; а когда любезный голос произнес: «Вам цветы, миссис Уэст», – ждала, пока говорившая не выйдет из комнаты. Гвоздики. От Джима. На карточке было написано: «Приободришься. Мы не так плохи, как кажемся».

Она улыбнулась и спрятала лицо в цветы. В них все естественно. Никакого обмана. Ничего странного в запахе. Гвоздики и были гвоздиками, душистые, изящные. Даже дежурная сестра с головой пони, зашедшая, чтобы поставить их в воду, не вызвала у Мады раздражения своим видом. Да и с чего бы – такая ухоженная маленькая лошадка с белой звездой на лбу. Она прекрасно бы выглядела на цирковой арене.

– Спасибо, – улыбнулась миссис Уэст.

Странный день медленно подходил к концу. Мада с беспокойством ждала, когда наступит восемь. Умылась, сменила ночную рубашку, привела в порядок волосы. Сама задернула занавеси и зажгла лампу на ночном столике. Ее охватило странное тревожное чувство. Ей только сейчас пришло в голову, что за весь этот фантастический день она ни разу

не вспомнила о сестре Энсел. Милая, очаровательная сестра Энсел, ее утешительница. Сестра Энсел, заступающая на дежурство ровно в восемь часов. Она тоже участвует в заговоре? Если да, Мада Уэст заставит ее раскрыть карты. Сестра Энсел не станет ей лгать. Мада подойдет к ней, положит руки ей на плечи, коснется маски и скажет: «Ну-ка, снимите ее. Вы меня не обманете». Но если все дело в линзах, если вся вина падает на них, как это ей объяснишь?

Мада сидела за туалетным столиком, втирая в лицо крем, и не заметила, как отворилась дверь и раздался знакомый мягкий голос, чарующий голос:

– Я еле могла дождаться, чуть не пришла раньше времени, но побоялась. Вы бы подумали, что я глупо себя веду.

И перед ее глазами за спиной в зеркале медленно возникла длинная плоская голова, извивающаяся шея, острый раздвоенный язык – он высовывался и молниеносно прятался во рту. Змея.

Мада Уэст не шевельнулась. Лишь рука продолжала механически втирать в щеку крем. Зато змейка ни на миг не оставалась в покое, она вертелась и извивалась, словно хотела рассмотреть все баночки с кремом, коробочки с пудрой, флаконы с духами.

– Приятно снова себя увидеть?

Как нелепо, как ужасно слышать голос сестры Энсел, доносящийся из змеиного рта; одно то, что при каждом звуке ее язык двигался взад и вперед, парализовало Маду. Она по-

чувствовала, что к горлу подступает тошнота, душит ее и... внезапно физическая реакция оказалась сильнее ее... Мада Уэст отвернулась, но тут же крепкие руки сестры подхватили ее и повели к кровати. Она позволила уложить себя в постель и теперь лежала, не раскрывая глаз, тошнота постепенно проходила.

– Бедняжка моя! Что они тут вам дали? Успокоительное? Я видела назначение в вашей карте.

Этот мягкий голос, такой спокойный и умиротворяющий, мог быть только у того, кто все понимает. Пациентка не раскрывала глаз. Не отваживалась на это. Она лежала, она ждала.

– Это было вам не по силам, – продолжал голос. – В первый день так важен покой! Были у вас посетители?

– Нет.

– Все равно вы нуждались в отдыхе. Смотрите, как вы бледны. Вам нельзя показываться мистеру Уэсту в таком виде. Пожалуй, мне следует позвонить ему и попросить его не приходить.

– Нет... пожалуйста, не надо, я хочу его видеть. Мне нужно его видеть.

От страха Мада открыла глаза, но не успела она это сделать, как к горлу снова подкатила тошнота, – змеиная голова еще длинней, чем прежде, извивалась над воротником сестры, и Мада впервые увидела крошечный глазок величиной с булавочную головку. Она зажала рот рукой, чтобы не закри-

чать.

Сестра Энсел испустила тревожное восклицание.

– Что-то вам навредило, – сказала она. – Это не успокоительное. Вы часто принимали его. Что у вас было сегодня на ужин?

– Вареная рыба. Я к ней почти не прикоснулась.

– Интересно, была ли она достаточно свежая. Пойду узнаю, не поступали ли жалобы от других пациентов. А вы полежите спокойно, дорогая, и не расстраивайтесь.

Дверь тихо растворилась и снова затворилась; и Мада Уэст, вопреки просьбе сестры, соскользнула с постели и схватила первое оружие, попавшееся ей под руку, – маникюрные ножнички. Затем снова легла в постель и спрятала ножнички под простыней. Сердце гулко билось у нее в груди. Ее душило отвращение. Теперь ей будет чем защитить себя, если змея слишком приблизится к ней. Она не сомневалась больше в реальности всего, что здесь происходило. Все это было явью. Какая-то злая сила завладела лечебницей и ее обитателями – старшей сестрой, сиделками, врачами, ее хирургом, все они были в сговоре, были соучастниками чудовищного преступления, смысл которого понять было нельзя. Здесь, на Уотлинг-стрит, тайно готовился злой заговор, и она, Мада Уэст, была одним из заложников: каким-то неизвестным образом они хотели использовать ее как орудие для достижения своих целей.

Одно она знала твердо. Нельзя показывать, что она их по-

дозревает. Надо попытаться держать себя с сестрой Энсел так, как она держалась с ней прежде. Одна промашка – и она пропала. Нужно притвориться, что ей лучше. Если она не сумеет превозмочь тошноту, сестра Энсел наклонится над ней и... о, эта змеиная голова, высовывающийся язык!

Дверь отворилась. Змея снова была здесь. Мада Уэст сжала кулаки под одеялом. Затем через силу улыбнулась.

– Вам со мной одно мучение, – сказала она. – Мне было нехорошо, но сейчас получше.

У скользящей к ней змеи был в руках пузырек. Подойдя к умывальнику, она налила в мензурку воды и капнула туда капли.

– Сейчас все пройдет, миссис Уэст. Скоро конец, – сказала она, и пациентку снова охватил страх, ведь в самих этих словах таилась угроза. Конец? Чему, кому конец? Ей, Маде? Жидкость была бесцветной, но это ни о чем не говорило.

Мада взяла протянутую мензурку и прибегла к уловке:

– Вам не трудно достать мне чистый носовой платок, он там, в столике.

– Конечно нет.

Змея отвернулась, и Мада Уэст тут же вылила содержимое мензурки на пол. Затем зачарованно стала следить, как отвратительная извивающаяся головка заглядывает по очереди в ящики в поисках платка. Вот змейка уже несет его к кровати. Мада Уэст задержала дыхание. Голова приблизилась, и Мада впервые заметила, что шея змеи не гладкая, как

у червяка, – так ей показалось с первого взгляда, – а зигзагообразно покрыта чешуей. Странно, но шапочка ладно сидела на голове, а не торчала нелепо, как у коровы, кошечки и овцы. Мада взяла платок.

– Почему вы так пристально смотрите на меня? – слышался голос. – Хотите прочитать мои мысли? Мне даже неловко.

Мада Уэст не ответила. В вопросе могла скрываться ловушка.

– Скажите мне, – продолжал голос, – вы не разочарованы? Я выгляжу так, как вы ожидали?

Снова ловушка. Нужно быть осторожной.

– Пожалуй, да, – проговорила она медленно, – но я не могу сказать наверняка, когда вы в шапочке. Мне не видны ваши волосы.

Сестра Энсел рассмеялась. Мягкий, низкий смех, так пленявший Маду в долгие недели слепоты. Она подняла руки, и через секунду взору Мады Уэст предстала вся змеиная голова, плоская, широкая макушка, красноречивая V. Гадюка.

– Нравится? – спросила она.

Мада Уэст отпрянула на подушку. Она снова заставила себя улыбнуться.

– Очень красивые, – сказала она. – Очень, очень красивые.

Шапочка вновь очутилась на голове, длинная шея раскачивалась, затем мензурка была вынута из рук пациентки и

поставлена на умывальник. Обман удался. Змея не была всезнающей.

– Когда я поеду к вам, – сказала сестра Энсел, – мне не обязательно носить форму... то есть если вы не хотите. Вы же будете тогда частным пациентом, а я – вашей личной сиделкой на ту неделю, что пробуду у вас.

Мада Уэст почувствовала, что холодеет. Волнения этого дня вычеркнули у нее из памяти их план. Сестра Энсел должна была пожить у них неделю. Все было договорено. Главное, не выказать страха. Делать вид, что ничего не изменилось. А потом, когда приедет Джим, она все ему расскажет. Пусть даже он сам не увидит змеиной головы – это не исключено, если ее сверхвидение вызвано линзами, – ему придется принять в расчет ее слова, что по причинам слишком глубоким для объяснения она больше не доверяет сестре Энсел, более того, даже думать не может о том, чтобы та ехала с ними домой. План придется изменить. Она не хочет, чтобы за ней ухаживали. Она хочет одного – быть снова дома, быть с ним.

На столике у кровати зазвонил телефон. Мада Уэст схватила трубку, точно в ней крылось спасение. Это был ее муж.

– Прости, что я так поздно, – сказал он. – Прыгаю в такси и буду у тебя через минуту. Меня задержал поверенный.

– Поверенный?

– Да. Фирма «Форбз и Милуолл», ты же помнишь – в связи с доверенностью на твой капитал.

Ничего она не помнила. Перед операцией было столько

разговоров о деньгах. Как всегда, одни советовали одно, другие – другое. И наконец Джим отдал все в руки этим Форбзу и Милуоллу.

– О да. Все в порядке?

– Вероятно, да. Скоро все тебе расскажу.

Он дал отбой. Взглянув наверх, она увидела, что змейка не сводит с нее глаз. Не сомневаюсь, подумала Мада Уэст, не сомневаюсь, ты хотела бы знать, о чем мы говорили.

– Обещайте не очень волноваться, когда придет мистер Уэст. – Сестра Энсел стояла, держась за ручку двери.

– Я не волнуюсь. Просто очень хочу его видеть.

– У вас горит лицо.

– Здесь жарко.

Извивающаяся шея потянулась наверх, затем к окну. Впервые Маде Уэст показалось, что змейке не по себе. Верно, почувствовала напряженную атмосферу. Теперь она знала, не могла не знать, что отношения между пациенткой и ее сиделкой переменились.

– Я слегка приоткрою фрамугу.

Если бы ты была целиком змеей, подумала пациентка, я могла бы столкнуть тебя вниз. Но возможно, ты обвилась бы вокруг моей шеи и задушила меня?

Окно было открыто, и, задержавшись на минуту, змея нависла над изножьем кровати, дожидаясь, возможно, слов благодарности. Затем шея осела в воротнике, язык высунулся и снова скрылся, и сестра Энсел выскользнула из комнаты.

Мада Уэст ждала, когда она услышит на улице звук подъехавшего такси. Спрашивала себя, удастся ли ей убедить Джима остаться в лечебнице на ночь. Если она объяснит ему, расскажет о своем страхе, своем ужасе, конечно же, он все поймет. Она сразу догадается, заметил ли он, что здесь что-то неладно. Она позвонит будто бы для того, чтобы спросить сестру Энсел о чем-то, и по выражению его лица, по тону голоса ей станет ясно, видит ли он то же, что и она.

Наконец такси подъехало к дому. Мада слышала, как оно замедлило ход, затем хлопнула дверца и – о счастье! – на улице под окном раздался голос Джима. Такси отъехало. Сейчас он поднимается в лифте. Сердце ее забило часто-часто, она не сводила глаз с дверей. Его шаги в коридоре, снова его голос – должно быть, говорит что-то змее. Она сразу узнает, видел ли он ее голову. Он войдет в комнату, пораженный, не веря своим глазам, смеясь, – ну и шутка, неплохой маскарад... Чего он медлит? Что они копаются там, за дверью, о чем говорят, приглушив голос?

Дверь распахнулась, первое, что возникло в проеме, – знакомый зонтик и котелок, затем – неторопливая плотная фигура и... о боже... нет... пожалуйста, боже, только не Джим, не Джим, в надетой на него силой маске, силой втянутый в эту дьявольскую игру, в этот союз лжецов... У Джима была голова ястреба. Мада не могла ошибиться. Приметливый взгляд, кончик клюва в крови, дряблые складки кожи на шее. Пока он ставил в угол зонтик, клал котелок и сложенное

пальто, она лежала, не в силах вымолвить слова от ужаса и отвращения.

– Я слышал, ты неважно себя чувствуешь, – сказал он, оборачивая к ней ястребиную голову, – нездоровится, и к тому же в плохом настроении. Я не стану задерживаться. Отоспишься, отдохнешь, и все будет в порядке.

Ее сковало оцепенение. Она не могла отвечать. Лежа неподвижно в постели, Мада Уэст смотрела, как ястреб приближается, чтобы ее поцеловать. Вот он наклонился. Острый клюв коснулся ее губ.

– Сестра Энсел говорит, что это реакция, – продолжал он, – шок от того, что ты вдруг прозрела. На разных людей это действует по-разному. Она говорит, когда мы вернемся домой, тебе станет гораздо лучше.

«Мы»... сестра Энсел и Джим. Значит, план оставался в силе.

– Не уверена, – еле слышно сказала Мада, – что хочу брать к нам домой сестру Энсел.

– Не хочешь брать сестру Энсел? – В голосе звучало удивление. – Но ведь ты сама это предложила. Нельзя же так внезапно все менять. Надо знать, чего ты хочешь.

На ответ не было времени. Она не звонила, однако сестра Энсел вошла в комнату.

– Чашечку кофе, мистер Уэст? – спросила она.

Обычная вечерняя церемония. Но сегодня в ней было что-то странное, словно они заранее о чем-то сговорились.

– Благодарю, сестра, с удовольствием. Что это за глупости, почему это вы с нами не едете?

Ястреб обернулся к змее, и, глядя на них, на извивающуюся змею, на ее язык, на утонувшую в мужских плечах голову ястреба, Мада Уэст вдруг прониклась уверенностью, что приглашение к ним сестры Энсел исходило вовсе не от нее – сама сестра Энсел сказала, что миссис Уэст понадобится ее помощь во время выздоровления. Предложение это было сделано, как-то раз когда Джим целый вечер шутил и смеялся, а жена лежала с завязанными глазами, с радостью слушая его голос. Сейчас, глядя на скользкую змею, шапочка которой скрывала V гадюки, она знала, почему сестра Энсел хотела поехать к ним, знала также, почему Джим не возражал, почему, если уж на то пошло, сразу же принял ее план, заявил, что он превосходен.

Ястреб раскрыл кровавый клюв:

– Не хотите же вы сказать, что поссорились.

– Ну что вы! – Змея изогнула шею, посмотрела сбоку на ястреба и добавила: – Миссис Уэст немного устала к вечеру. У нас был трудный день. Правда, дорогая?

Как лучше ответить? Ни один из них ничего не должен знать. Ни ястреб, ни змея, ни одна из этих ряженных тварей, окруживших ее и все теснее сжимавших свое кольцо, не должна ни о чем догадаться, не должна ни о чем знать.

– Я вполне хорошо себя чувствую, – сказала Мада. – Просто немного растеряна. Сестра Энсел права, утром мне будет

лучше.

Те двое в полном согласии молча общались между собой. Это было, как она теперь поняла, страшнее всего. Животные, птицы, рептилии не нуждаются в словах. Жесты, взгляды – и они уже знают, что к чему. Но погубить ее им не удастся. Пусть она потеряла голову от страха, воля к жизни в ней еще сильна.

– Я не буду тебя беспокоить, – проговорил ястреб, – документы могут и подождать. Подпишешь дома.

– Какие документы?

Если она отведет глаза в сторону, ей не придется смотреть на его голову. Голос был голосом Джима, твердый, ободряющий.

– Доверенности на капитал, которые дали мне в конторе Форбза и Милуолла. Они предлагают, чтобы я стал совладельцем.

Его слова пробудили что-то у нее в памяти, вызвали воспоминание о чем-то, что было до операции, о чем-то, связанном с ее глазами. Если операция ничего не даст, ей будет трудно подписывать свое имя.

– Зачем? – спросила она дрогнувшим голосом. – В конце концов, это мои деньги.

Он рассмеялся. И, обернувшись на смех, она увидела раскрытый клюв. Он зиял, как капкан. Затем закрылся.

– Конечно твои, – сказал он. – Но не в этом дело. Дело в том, что я смогу подписывать бумаги вместо тебя, если ты

уедешь или заболеешь.

Мада Уэст взглянула на змею; узнав, что ей требовалось, та спрятала голову в воротник и струилась к дверям.

– Не задерживайтесь надолго, мистер Уэст, – прошелестела сестра Энсел, – нашей больной надо сегодня как следует отдохнуть.

Она бесшумно выскользнула из комнаты, и Мада Уэст осталась наедине с мужем. С ястребом.

– Я не собираюсь уезжать, – сказала она, – или болеть.

– Разумеется. Да разве о том речь! Просто эти голубчики не могут без мер предосторожности. Но, так или иначе, я не буду сегодня к тебе с этим приставать.

Правда ли, что голос звучит нарочито небрежно? Что рука, сующая бумаги в карман пальто, на самом деле птичья лапа? Кто знает, может быть, ее ждет еще больший кошмар: преобразившиеся тела, руки и ноги, становящиеся крыльями, лапами, копытами, – пока в окружающих ее людях не останется ничего человеческого. Последней исчезнет человеческая речь. С ней уйдет и последняя надежда. Все заполнят джунгли, со всех сторон будут раздаваться вой, рычание, крики, вылетающие из сотен глоток.

– Ты это серьезно – насчет сестры Энсел? – спросил Джим.

Она спокойно смотрела, как он подпиливает ногти. Он всегда носил пилку в кармане. Раньше Мада не придавала этому значения – пилка была неотъемлемой частью Джима, как его вечное перо и трубка. Только теперь она поняла, что

за этим крылось: ястребу нужны острые когти, чтобы терзать свою добычу.

– Не знаю, – сказала она, – мне кажется довольно глупо брать с собой сиделку, раз ко мне вернулось зрение.

Он ответил не сразу. Голова глубже ушла в плечи. Его темный деловой костюм напоминал оперение большой находившейся птицы.

– Я лично высоко ее ценю, – сказал он. – А ты, естественно, будешь слаба первое время. Я за то, чтобы не менять прежний план. В конце концов, если наши ожидания не сбываются, мы всегда можем ее отослать.

– Возможно, – сказала его жена.

Она пыталась припомнить кого-нибудь, кому она могла доверять. Нет, у них никого не осталось. Родных раскидало по свету. Брат с женой жили в Южной Африке, из друзей в Лондоне она ни с кем не была очень близка. Не до такой степени. Никого, кому она могла бы сказать, что сиделка превратилась в змею, а муж – в ястреба. Беспомощность осуждала ее на вечную муку. Она была в своем личном аду. Одинокая, окруженная ненавистью и жестокостью; хладнокровно все взвесив, она больше в этом не сомневалась.

– Что ты будешь делать сегодня вечером? – спокойно спросила она.

– Поеду в клуб ужинать, вероятно, – ответил он. – Как это мне надоело. Слава богу, еще два дня, и ты опять будешь дома.

Да, но, попав домой, вернувшись туда вместе со змеей и ястребом, не окажется ли она еще больше в их власти, чем здесь, в лечебнице?

– Гривз точно обещал в среду? – спросила она.

– Да, так он сказал, когда звонил мне сегодня утром. В среду он заменит тебе эти линзы на другие, в которых ты будешь различать цвета.

Которые покажут и тела в их истинном виде. Вот в чем разгадка. Синие линзы показывают только головы. Это было первое испытание. Гривз тоже в этом замешан, и ничего удивительного, ведь он хирург. Он занимает важное место в заговоре... а возможно, его подкупили. Кто это был, старалась она припомнить, кто первый предложил операцию? Их частный врач, после разговора с Джимом? Кажется, они оба пришли тогда к ней и сказали, что операция – единственный шанс спасти ей зрение. Корни заговора уходят в далекое прошлое, в глубь месяцев, возможно, лет. Но с какой целью, ради всего святого? Мада яростно рылась в памяти – не всплывет ли чей-нибудь взгляд, слово, какой-нибудь знак, который позволил бы ей проникнуть в этот ужасный заговор, это покушение на ее жизнь или на ее рассудок.

– Ты даже осунулась, – внезапно сказал Джим. – Позвать сестру Энсел?

– Нет... – вырвалось из ее губ чуть ли не криком.

– Я, пожалуй, лучше пойду. Она просила не задерживаться надолго.

Он встал с кресла – массивная фигура, перья на голове, как клубок, – подошел к ней, чтобы поцеловать на прощанье. Она закрыла глаза.

– Спи спокойно, моя любимая, и ни о чем не тревожься.

Несмотря на страх, она невольно ухватилась за его руку.

– Что с тобой? – спросил он.

Знакомый поцелуй вернул бы ее к жизни, но она почувствовала укол ястребиного клюва, кровавого клюва, больно щипнувшего ее. Когда муж ушел, Мада принялась стонать, катаясь головой по подушке.

– Что мне делать? – повторяла она. – Что мне делать?

Дверь снова отворилась. Мада сунула в рот кулак. Никто не должен знать, что она плачет. Ни слышать этого, ни видеть. Последним усилием воли она взяла себя в руки.

– Как вы себя чувствуете, миссис Уэст?

У изножья кровати стояла змея, рядом с ней – постоянный врач лечебницы. Приятный юноша, он всегда ей нравился, и, хотя, подобно всем прочим, у него была звериная голова, это не испугало ее. Это была голова собаки, шотландского колли. Коричневые глаза, казалось, поддразнивали ее. У нее самой когда-то был колли.

– Могу я поговорить с вами наедине? – спросила Мада.

– Разумеется. Вы не возражаете, сестра? – Он кивнул на дверь, и сестра Энсел исчезла. Мада Уэст села в постели и стиснула руки.

– Вы сочтете, что все это глупости, – начала она, – но дело

в линзах. Я не могу к ним привыкнуть.

Он подошел к кровати, верный колли, нос вверх в знак сочувствия.

– Очень жаль это слышать, – сказал он. – Они вам не режут?

– Нет, – сказала она. – Нет, я их даже не чувствую. Просто из-за них у всех странный вид.

– И ничего удивительного, так и должно быть. Ведь они скрадывают цвет. – Голос его звучал бодро, дружески. – Когда столько времени проходишь в повязке, наступает нечто вроде шока, – сказал он. – Не забывайте, вам порядочно досталось. Глазные нервы еще не окрепли.

– Да, – сказала она. Его голос, даже собачья голова внушали ей доверие. – Вы знаете людей, которые перенесли такую же операцию?

– И очень многих. Через день-два вы будете совершенно здоровы.

Он потрепал ее по плечу. Добрый песик! Веселый охотничий пес!

– И я вам еще одно скажу, – продолжал он. – Ваше зрение делается лучше, чем раньше. Все станет яснее во всех отношениях. Одна пациентка говорила мне, что у нее было такое чувство, будто она всю жизнь носила очки и только после операции увидела своих друзей и родных в их истинном свете.

– В их истинном свете? – повторила Мада его слова.

– Именно. Понимаете, у нее всегда было слабое зрение. Она, например, думала, что волосы у ее мужа каштановые, а в действительности он был рыжий, ярко-рыжий. Сперва это было для нее ударом, но потом она пришла в восторг.

Колли отошел от кровати, похлопал по стетоскопу, торчащему из кармана, и кивнул головой.

– Мистер Гривз сотворил с вами чудо, можете мне поверить, – сказал он. – Ему удалось вернуть к жизни нерв, который он считал мертвым. Вы никогда им не пользовались – он не действовал. Кто знает, миссис Уэст, может быть, вы еще войдете в историю медицины. Так или иначе, хорошенько отоспитесь. Желаю вам удачи. Зайду утром. Спокойной ночи.

Он потрусил к дверям. Она слышала, как, идя по коридору, он пожелал доброй ночи сестре Энсел.

Ободряющие слова лишь задели ее по больному месту. Правда, в каком-то смысле они принесли облегчение, из них вытекало, что заговора против нее нет. Как и той пациентке с обострившимся чувством цвета, ей было дано не только зрение, но и видение. Она употребила слова, которые произнес врач. Она, Мада Уэст, может видеть людей в их истинном свете. И те, кому она доверяла, кого любила больше всех остальных, оказались ястребом и змеей...

Дверь отворилась, и сестра Энсел вошла в комнату, неся успокоительное.

– Будем ложиться?

– Да, благодарю вас.

Заговора, может быть, и нет, так, но вся вера, все доверие покинули ее.

– Оставьте лекарство и стакан воды. Я приму его позднее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.